
Анна Ветрова
7 шагов до рассвета
Пепел и рассвет
Книга 2

Анна Ветрова

7 шагов до рассвета: Пепел и рассвет (книга 2)

«Автор»
2026

Ветрова А.

7 шагов до рассвета: Пепел и рассвет (книга 2) / А. Ветрова — «Автор», 2026

Она уехала в февральскую метель, оставив на кухонном столе ключ, цепочку и четыре страницы, в которых не было ни слова «прощай». Он остался в квартире, где каждая стена помнила её шаги, и каждое утро заставлял себя есть — потому что она просила.История о двух людях, которые пережили самое страшное, что может случиться с семьёй, и не сумели пережить это вместе. Она учится дышать заново в монастырской мастерской, под голоса вечерни, снимая копоть с чужих ликов и не решаясь коснуться своего. Он учится не спасать, не чинить, не держать — просто стоять рядом и держать фонарь.Это роман о вине, которая не отпускает, и о прощении, которое приходит не сразу и не целиком. О том, что любовь — не всегда спасение, иногда — умение ждать. И о рассвете, который приходит, даже если его не торопить.

© Ветрова А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 36. Курский вокзал 6
Глава 37. Ольга Дмитриевна 10
Глава 38. Звонки 14
Глава 39. Тишина 18
Глава 40. Первый звонок 22
Глава 41. Утро 27
Глава 42. Стас 32
Глава 43. Кабинет с фикусом 36
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Анна Ветрова
7 шагов до рассвета:
Пепел и рассвет (книга 2)

ЧАСТЬ VIII. «МОСКВА»

Глава 36. Курский вокзал

Москва началась с запаха: мокрый металл, горелое масло, сладкая выпечка из вокзального ларька и что-то ещё, чему Алиса не нашла названия, чужое, большое, как дыхание огромного животного. Она вышла из вагона последней. Проводница в ушанке на прощание кивнула ей, как старой знакомой, и поправила подножку, чтобы не поскользнулась.

Серое небо лежало на крышах низко, будто его не доклеили. Падал не снег, а какая-то крупа пополам с водой, она не белела на асфальте, а сразу превращалась в бурую кашу. Перрон гудел. Люди шли быстро, мимо, толкая друг друга чемоданами, и никто не смотрел на неё. В Приморске её знали в лицо даже продавщицы в хлебном. Здесь она была просто девушка с сумкой на плече, которая мешала идти.

Алиса остановилась под табло и почувствовала, как внутри поднимается холодная, пустая лёгкость. Никто не знает, кто я. Никто не знает, что у меня было. Можно стоять здесь хоть час и ни перед кем не держать лицо.

Лёгкость продержалась минуты три. Потом толпа вынесла её к турникетам, и в голове всё смешалось: стрелки, цвета линий, голос из динамика, который называл станции так быстро, что слова склеивались. Она стояла перед схемой метро, как перед иконой на незнакомом языке, и водила пальцем по разноцветным нитям. Ей нужна была конечная станция на востоке Москвы, где в объявлении на сайте значилась комната. Позвонила она по этому объявлению ещё из такси по дороге на вокзал, в Приморске, и женский голос, прокуренный и скрипучий, сказал: «Приезжайте, смотрите, если не побрезгуете».

— Девушка, вы стоите, — сказал кто-то за спиной.

Она отшатнулась. Мужчина в куртке обошёл её, не глядя.

В вагоне её прижало к поручню. Кто-то дышал ей в затылок луком и кофе. Молодая женщина с коляской, закутанная в одеяло по уши, втиснулась у дверей, и Алиса отвела глаза. Потом заставила себя посмотреть. В коляске спал ребёнок в вязаной шапке с ушами. Из-под шапки торчал нос-кнопка и ресницы, длинные, влажные от тепла. Алиса смотрела на ресницы, пока не закончилась станция. Не заплакала. Только зубы стиснула так, что в висках отозвалось.

Станцию она проехала. Пришлось возвращаться, пересаживаться, снова искать выход. Когда она наконец вынырнула из подземного перехода на улицу, был уже одиннадцатый час, и мокрая крупа превратилась в настоящий дождь, мелкий, злой, с ветром.

* * *

Дом стоял в глубине двора, за гаражами: пятиэтажка серого кирпича, с ржавыми козырьками над подъездами и с рядом сухих кустов у стены. Во дворе тополь, огромный, чёрный, с гнездом вороны в развилке. Алиса нашла нужный подъезд по номеру, заглянула в домофонную табличку, не поняла ничего и просто нажала на кнопку квартиры.

— Кто?

— Я по объявлению. Алиса.

— Четвёртый этаж, лифт не работает. Дверь дерматиновая, звонить два раза.

Лестница пахла кошками, борщом и сыростью. На третьем пролёте стоял велосипед, привязанный проволокой к батарее. Лампочка на площадке горела вполнакала. Алиса поднималась, считая ступеньки, как привыкла, и сбилась на шестидесятой.

Дверь действительно была дерматиновая, чёрная, с рваным углом, из которого торчала вата. Она позвонила два раза. Услышала шарканье тапок, лязг цепочки, и дверь отворилась.

Женщина, стоявшая на пороге, была невысокой и плотной, лет семидесяти, в вязаной жилетке поверх байкового халата. Волосы выкрашены в медно-рыжий цвет и коротко острижены, виски седые. Лицо в сетке морщин, нос крупный, глаза светлые, цепкие, чуть навыкате.

В углу рта дымилась сигарета «Ява». Она оглядела Алису от мокрого пучка до промокших ботинок, задержалась на сумке и, кажется, на пальто, и выдохнула дым в сторону.

— Не врёшь, что одна?

— Одна.

— Не пьёшь? Не гуляешь? Мужиков не водишь?

— Нет.

— Это плохо, — сказала женщина. — Молодая, красивая. Ну да ладно. Валентина Игоревна. Ты проходи, что в дверях стоишь, тепло уходит. Ботинки на тряпку.

В коридоре было тесно: вешалка с десятком пальто, шкаф, на котором стояли банки с огурцами, тумбочка с телефоном на витом шнуре. Длинный, как тоннель, он тянулся вглубь квартиры, вдоль него шли двери, и под потолком горела та самая тусклая лампочка. У окна в конце на подоконнике стояла герань в консервной банке, красная, наглая, единственное живое пятно во всей этой серости. Пахло луком, табаком и чем-то ещё, очень домашним, пирогами, кажется.

— Здесь я, — Валентина Игоревна ткнула сигаретой в первую дверь. — Тут Витька, студент, он ночью воет по скайпу на английском, не пугайся, он не буйный. Тут бывшие жильцы, комнату сдают, сейчас пустая, а тут вот.

Она отперла последнюю дверь, у самой кухни, и толкнула её плечом.

Комната была маленькая, метров одиннадцать. Окно во двор, на тополь и крыши гаражей; на подоконнике несколько мёртвых мух. Узкая кровать с продавленным матрасом, застеленная выцветшим покрывалом с павлинами. Шкаф с дверцей, которая не закрывалась. Стол у окна, исцарапанный, с ожогом от утюга. Стул. Над столом полка, на ней кто-то оставил книжку без обложки и пустую чашку с отбитой ручкой. Обои светло-зелёные, в мелких цветочках, на стыках отклеились и висели язычками. Пахло пылью и немного нафталином.

— Восемь тысяч в месяц, — сказала Валентина Игоревна. — Свет, вода отдельно, по счётчику. Душ в конце коридора, вода с желтизной, ты не бойся, это ржавчина, не заразная. Кухня общая. Мою посуду сразу, по графику не хожу, у меня глаза не мои. Если шум, я не терплю. Если с мужиками, не терплю втройне. Если куришь, на кухне, в форточку.

— Не курю.

— Ну хоть что-то. Берёшь?

Алиса стояла на пороге, глядя на мух.

— Беру, — сказала она.

— Не на неделю?

Она вздрогнула. Второй человек за двое суток спрашивал это.

— Нет. Надолго.

— Хорошо, — хозяйка кивнула и затушила сигарету о ладонь, потому что пепельницы не было. — Ну вот, что ж ты бледная такая, как стена. Ты когда ела?

— Я булку ела. В поезде.

— Булка. — Валентина Игоревна поджала губы. — Булка не еда. Сиди тут, я через пять минут.

Она ушла, оставив запах «Явы» и скрип половиц. Алиса вошла в комнату, поставила сумку на стул и села на кровать. Матрас жалобно вздохнул. Она закрыла глаза. За стеной включили воду, потом что-то зазвенело на кухне, потом чей-то голос, мужской, молодой, запел вполголоса по-английски и сбился.

Алиса сидела с закрытыми глазами. Раскрыла ладонь, где лежала бабушкина ложечка. Подержала. Положила на стол, на ожог от утюга. Медная, тёплая в руке, она стояла посреди чужого стола, как знак: здесь кто-то живёт.

* * *

Валентина Игоревна вернулась с тарелкой. Картошка с лопнувшей кожей, два солёных огурца, кусок чёрного хлеба и половинка котлеты, оставшаяся с вечера.

— Ешь, — сказала она. — Деньги потом. Заселю и записку напишу, а ты на кухне ничего не бери, только то, что в твоём углу на полке. Холодильник общий, на нижней полке твоя.

— Спасибо.

— Не за что. Мне комната пустая в убыток. — Она села на стул, отодвинув сумку, и достала из кармана жилетки новую сигарету. — А тебя что, выгнали?

— Нет. Сама уехала.

— От мужа?

Алиса посмотрела на руку. Кольцо на пальце тускло блеснуло.

— Не знаю, — сказала она честно.

— Хм, — произнесла Валентина Игоревна. — Вот это правильный ответ. Те, кто знают, они потом все приходят и плачут на кухне. А кто не знает, те сидят тихо. Ты сиди тихо. Я не лезу. У меня правило: пока человек сам не заговорит, я рта не раскрываю. Рот раскрывать — последнее дело.

Она вышла, но тут же вернулась с пледом, колючим, пёстрым, пахнущим нафталином, и бросила на кровать.

— Батарея у тебя слабая. Ночью мёрзнуть будешь.

Хлопнула дверью. Алиса осталась одна. Она съела картошку. Съела огурцы. Съела хлеб. Котлету положила на край тарелки и долго на неё смотрела, потом тоже съела. Каждый кусок опускался в желудок как камень, но она ела, потому что где-то в Приморске лежал на столе листок с приписанной внизу строчкой, и там было написано: «Ешь по утрам».

Ей вдруг стало ясно, что она написала это не только ему.

* * *

К вечеру она разобрала сумку. Свитера положила в шкаф, дверца всё равно не закрылась, пришлось подпереть стулом. Футляр с кистями и скальпелями поставила на стол, слева, как стоял в мастерской. Пинетки спрятала в наволочку. Паспорт под подушку. Потом протёрла подоконник тряпкой, которую нашла на кухне, смахнула мух, открыла форточку на минуту, чтобы выветрился нафталин, и закрыла: пошёл такой холод, что пальцы свело.

За окном стемнело рано. Тополь во дворе превратился в чёрный силуэт, гаражи в ряд низких коробок; кое-где светились окна соседних домов, жёлтые, с занавесками, с чужими кухнями, с чужими людьми, которые чистили картошку и ругались из-за пульта. Она смотрела на эти окна и думала: у каждого здесь своё. Своя комната с жёлтым светом. Кто-то внутри кого-то ждёт.

Телефон в кармане завибрировал в половине девятого.

Она вынула его. Экран осветил комнату синеватым. «Максим». Фотография, которую она сама поставила в прошлом году: он у окна, с кружкой, растрёпанный, прищурившийся от солнца. «Максим».

Звонок шёл. Она держала телефон на ладони, как раскалённую вещь. Рядом лежала ложечка. На экране стояло: «Максим, 1 пропущенный. 2». Нет, не пропущенный. Идёт. Вибрация била в ладонь.

Он проснулся. Нашёл письмо. Утро давно прошло, он ждал полдня, значит, ждал, пока Кира или Стас что-нибудь... Нет. Алиса сидела и считала: часов десять он знает. Десять часов он читает письмо, и вот теперь звонит. Голос будет сорванный. Он будет говорить: «Алиса». Она его слышала уже сейчас, не включая.

Звонок оборвался. Экран потух. В комнате стало темнее, чем прежде.

И тут же, через секунду, снова зажёгся. «Максим». Снова. Она накрыла телефон подушкой. Вибрация гудела сквозь пух, как шмель в банке.

«Если ты приедешь, я вернусь с тобой».

Она знала, что напишет в сообщении, если он оставит. Знала, что не ответит. Но не отвечать тоже было нельзя, и она смотрела на подушку и повторяла про себя: не бери, не бери. Не бери.

Звонок стих. Она выждала минуту, достала телефон. Один пропущенный. Нет, четыре. И ни одного сообщения. Он не писал. Он только звонил.

Алиса вытянулась на кровати, не раздеваясь, накрылась пёстрым пледом, подтянула колени. Закрыла лицо подушкой, и вот тогда только позволила себе. Плакала в наволочку, чтобы не слышал студент за стеной, не слышала хозяйка. Плакала зло, с кусающей болью в горле, до икоты. От мысли, что можно было сейчас взять телефон и сказать: «Максим, приезжай». Он приехал бы. Сел бы на поезд, пришёл бы в этот двор, к тополю.

Нельзя. Если приедет, всё начнётся заново.

За стеной студент по-английски разговаривал с кем-то далёким. Слов она не разбирала, только тон: тёплый, терпеливый, с паузами. На кухне чиркнула спичка, потом щёлкнул чайник. Тихо тикали где-то часы. Дом жил своей жизнью, равнодушно и чуть-чуть уютно.

Часа в два ночи она заснула, не заметив. Во сне она шла по белому коридору, и лампы над головой гудели.

Глава 37. Ольга Дмитриевна

— Руки покажите.

Вот и всё приветствие. Алиса, мокрая от утреннего снега, который лепил в лицо всю дорогу от станции, стояла на пороге низкого помещения и не успела даже сказать «здравствуйте». Женщина за большим столом не подняла головы. Она сидела в круге света, под жёлтой лампой на гибком кронштейне, и разглядывала через лупу что-то на доске.

Алиса вытянула обе руки.

Только тогда женщина обернулась. Ей было лет шестьдесят. Высокая, сухая, с длинной седой косой, перекинутой на грудь через плечо, как у девочки. Лицо вытянутое, строгое, с тонкими губами, с коричневой родинкой над бровью. Глаза светлые, почти бесцветные, как талая вода. Поверх шерстяной кофты старый кожаный фартук, весь в пятнах: бурых, голубых, ржавых. И руки. Алиса сразу посмотрела на них: узловатые, покрасневшие, с жёлтыми от реактивов подушечками, ногти острижены под корень. Руки человека, который всю жизнь делал одно дело.

Ольга Дмитриевна встала, подошла, взяла Алису за кисти и перевернула их ладонями вверх. Пальцы у неё были шершавые и неожиданно тёплые. Она провела большим пальцем по подушечкам, по сгибам, по шраму на указательном, оставленному скальпелем два года назад. Постучала ногтем по ногтю. Подняла ладонь к лампе и посмотрела на свет.

— Дрожат, — сказала она.

— Это от холода. Я шла от станции.

— От холода дрожат по-другому. — Она отпустила руки. — Ну, ладно. Посмотрим. Пальто повесьте туда. Фартук возьмите в углу, чистый, сорок восьмой, он велик, затяните. Волосы под платок, всё, что выбивается, будет в левкасе. Платок на гвозде. Пойдёмте.

В мастерской стоял сумрак и удивительная теплота. Низкий свод из белёного кирпича, в нём тёмные подпалины от старых печей. В углу побеленная печка с железной заслонкой, оттуда шёл жар и запах нагретого дерева. Вдоль стен на деревянных стеллажах стояли иконы, десятки, ряд за рядом: тёмные, треснувшие, закопчённые, у некоторых лики вовсе пропали под чёрным слоем, и от этого казалось, что в комнате молча сидят слепые. Одна икона, огромная, в человеческий рост, стояла лицом к стене, как наказанная. Пахло олифой, льняным маслом, яичным желтком, горячим воском и ещё лампадным маслом, едва слышно, сладковато. И холодом от каменного пола.

Окна узкие, высоко под сводом, с решётками. В одном светил сквозь пыльное стекло серый февральский день.

— Не глазейте, — сказала Ольга Дмитриевна. — Сюда.

Она поставила перед Алисой маленькую доску, ладонью, размером с книжку. Потемневшую, закопчённую, с трещинами в левкасе, с чьим-то лицом, которого не было видно: только тёмное пятно с белёсым ободком.

— Расчистка. Вот скальпель, вот тампон, вот растворитель, вот смесь, которой работать. Это вам тест. Квадрат вот здесь, два на два сантиметра. Я посмотрю, как вы работаете, и тогда решу, берём вас или вы уедете сегодня же вечерней электричкой. Времени у вас час. Вопросы?

— Какой слой под копотью?

— Узнаете.

— Что нельзя трогать?

Ольга Дмитриевна впервые посмотрела на неё внимательно.

— Это правильный вопрос, — сказала она. — Сначала искать то, что нельзя трогать. Нельзя трогать красочный слой. Нельзя трогать то, что вы не видите. Всё остальное можно. Начинайте.

Она ушла к своему столу, повернулась спиной. Алиса села. Придвинула лупу. Взяла скальпель, и пальцы действительно дрожали, мелко, предательски. Она положила руку ладонью на стол, прижала. Дрожь ушла только после глубокого вдоха.

Работа. Вот оно, единственное, что у неё осталось. Тампон на палочке, смоченный в растворе, медленно, круговыми движениями, без нажима. Слой копоти поддавался неохотно. Она сняла один микрон, ещё один. Под чёрным проступил коричневый, потом золотистая охра. Потом тонкая, как волос, тёмная линия: контур. Она вела тампон по линии, не заходя за край, и мир сузился до квадрата в два сантиметра, до стёртой копоти на ватке и запаха растворителя, от которого слегка кружилась голова.

Прошёл час. Или десять минут. Она не заметила. Где-то за стеной загудел колокол, один раз, длинно. Потом тише, второй. Алиса, не поднимая головы, продолжала. Колокол смолк, и тогда она услышала другое: голоса. Мужские, низкие, ровные, сливавшиеся друг с другом, как три или четыре струи одного ручья. Они пели что-то размеренное, на непонятном и в то же время смутно знакомом языке. Звук шёл сквозь толстую стену приглушённо, будто из-под воды.

— Служба, — сказала Ольга Дмитриевна, не оборачиваясь. — Вечерня. Не отвлекайтесь, к ней привыкают.

Алиса вернулась к ватке. Она работала, а голоса поднимались и опадали за стеной. Странное дело: они не мешали. Наоборот. Они как будто держали её руку.

— Время, — сказала Ольга Дмитриевна.

Алиса подняла голову. Шея затекла, в глазах плыли пятна. Она отодвинулась от лупы. Квадрат два на два сантиметра был расчищен. Под копотью открылся небольшой клочок: золотой фон, тёмно-вишнёвая складка плаща, и кончик чьего-то пальца, тонкого, нарисованного с нежностью.

Ольга Дмитриевна встала у неё за плечом. Наклонилась, посмотрела через лупу. Долго. Алиса слышала её дыхание, ровное, с лёгким свистом.

— Край, — сказала она. — Вы тут, у самой линии, отступили на волос. Оставили копоть. Почему?

— Не видела, где кончается лак и где начинается краска. Побоялась снять лишнее.

— Правильно побоялись. — Ольга Дмитриевна выпрямилась. — Другая бы сняла и не заметила. Хорошо, что побоялись. Руки у вас приличные. Дрожь пройдёт, она у всех проходит, если не пить и спать по ночам. Вы спите?

— Нет.

— Спите. Это не просьба, это условие работы. Завтра к девяти. Если опоздаете, дверь будет закрыта, и вы подождёте на улице. Опоздаете второй раз, не придёте третий. Кормят в трапезной в час, ходить туда будете со всеми. В храм не обязаны. Платить буду тринадцать тысяч, это ученическое. Через три месяца поговорим.

Алиса моргнула.

— То есть вы меня берёте?

— Я же сказала: завтра к девяти.

Всё. Ольга Дмитриевна вернулась к своему столу и снова склонилась над лупой. Для неё разговор был окончен. Алиса сидела с мокрыми глазами и не знала, что делать, и тогда поняла, что слёзы потекли сами, тихо, от растворителя, наверное. Она смахнула их тыльной стороной ладони.

От растворителя, наверное. Хорошо, что есть на что сослаться.

* * *

В трапезной она оказалась в час, как велели. Длинный каменный зал, столы под клеёнкой, лавки. Пахло щами, кислой капустой и тёплым хлебом. Над дверью в рамке висел старый образ в серебряном окладе. Людей было человек сорок: монахи в чёрных подрясниках, несколько

женщин в платках, трудники в телогрейках. Ели молча, ложки стучали о миски. Читал что-то вслух мальчик лет пятнадцати, тонким, срывающимся голосом, и никто его не слушал, но и не перебивал.

Алиса села с краю. Рядом, на скамью, вынырнула девушка в синей косынке и серой юбке до пят. Лет двадцати двух. Круглое курносое лицо, россыпь веснушек, как у Киры, но не бледных, а загорелых, потому что лето ещё жило на ней. Огромные карие глаза с любопытством разглядывали Алису без всякого стеснения.

— Вы новая, — прошептала она. — Из мастерской. Я Агафья. Послушница. А вы откуда? Вы красивая. Только очень худая. Вы щей берите, они у нас хорошие, сестра Евлампия варит, она в молодости в ресторане работала. Хлеба берите, не стесняйтесь, там две корзины.

— Я не...

— Берите, берите!

Алиса взяла. Щи были густые, горячие, с кислинкой. Она не поняла, как съела миску, потом вторую половину. Горячее наполнило желудок, и на секунду стало так спокойно, что пришлось прислониться к стене.

— Агафья, — послышался негромкий окрик от другого стола, — не мешай человеку обедать.

— Я не мешаю! Я помогаю!

Высокий старик в чёрном подряснике, сидевший во главе зала, повернул голову, и Алиса увидела его мельком: белая борода, лопатой, почти до пояса; лоб в глубоких складках; глаза из-под густых бровей, почти не открытые, две узкие щёлки, в которых, однако, блеснуло что-то живое, и в этом блеске будто мелькнула улыбка. Он кивнул Алисе, коротко, будто знакомой, и вернулся к хлебу.

— Это отец Николай, — шепнула Агафья. — Ему восемьдесят лет, а он каждый день в пять встаёт. Вы с ним поговорите, он добрый. Строгий, но добрый. Ольга Дмитриевна его побаивается.

— Я не побаиваюсь, — донеслось с другого конца стола, и Алиса поняла, что Ольга Дмитриевна слышала всё. Агафья пискнула и уткнулась в миску.

* * *

Обратно она ехала в сумерках. От монастырских ворот до станции пятнадцать минут по грунтовой дороге вдоль яблоневого сада: деревья стояли голые, чёрные, в мокром снегу, ветки перекрещивались над головой, как рёбра. Где-то в них шумели вороны. Электричка опаздывала, и Алиса стояла на платформе под ветром, в расстёгнутом пальто, потому что вспотела от печки и теперь ей было всё равно.

В вагоне она села у окна. Закрыла глаза. И впервые за двое суток подумала: я работала. Четыре часа я не думала. Только четыре. Но не думала.

От вокзала до метро она шла ногами, которые не слушались. В метро заснула стоя, прижавшись лбом к поручню. На своей станции проснулась от толчка и чуть не проехала. На лестнице в подъезде попались двое: Витька, студент, худой, в очках, с рюкзаком, он вежливо подвинулся и сказал: «Добрый вечер». Алиса кивнула. Дверь она открывала долго, потому что пальцы разучились попадать в замок.

На кухне горел свет. Валентина Игоревна сидела за столом, курила в форточку и раскладывала пасьянс.

— Явилась, — сказала она, не оборачиваясь. — Щи на плите. Ешь.

— Я в монастыре ела.

— Тогда чай. И ложись. Ты с ног валишься, вижу. — Она положила карту. — Ну что, взяли?

— Взяли.

— Это хорошо. Работа — лучшее лекарство. Хуже только водка.

Алиса дошла до своей комнаты, сбросила пальто на стул. Села на кровать. Подумала: сейчас переоденусь, умоюсь, почищу зубы. Не пошевелилась. Просто повалилась на бок, и пёстрый плед сам накрыл её колени.

Телефон лежал на столе экраном вниз. Она не стала смотреть. Знала: звонок был. Может быть, два.

Ей приснилось, что она снимает копоть с огромной тёмной иконы. Тампон скользит, оставляя светлую дорожку, и под ней, медленно, проступает лицо. Она ещё не видит чьё, но уже знает: нельзя смотреть. Проснулась с криком, который не вышел. Лежала в темноте и слушала, как тикают часы на кухне.

Утро было в шесть.

Глава 38. Звонки

Телефон жужжал по столу, медленно уползая к краю. Суббота, шестнадцать ноль-ноль. Алиса знала это, не глядя на часы. Суббота и шестнадцать ноль-ноль: так было уже три недели подряд.

Она сидела на кровати в чистых джинсах и свитере с подвёрнутыми рукавами, только что вернувшись из душа, где ржавая вода текла то холодная, то кипяток, и пахла железом. Волосы мокрые, завязаны в узел. Телефон полз. На экране светилось одно слово.

Она не брала. Смотрела.

Сначала это была пытка. Потом, на второй неделе, ритуал. Алиса садилась перед столом, ставила локти на колени и смотрела на экран, как смотрят на огонь. Не думая. Не сжимаясь. Просто смотрела на его имя, на фотографию с кружкой, на зелёную кнопку, которую можно нажать. Это было почти то же самое, что слушать его голос. Только честнее.

Звонок шёл тридцать секунд. Потом экран гас. Он никогда не перезванивал второй раз. Он знал, сколько ей нужно, чтобы не взять.

Телефон замер. Она ещё минуту глядела в чёрное стекло, где отражалось её лицо, неузнаваемое: острые скулы, запавшие глаза. Потом открыла сообщения. Там, под последним от Киры, висело одно от него, пришедшее в самый первый день, под утро, в шесть двадцать:

«Я прочитал. Я не приеду. Я никогда не умел не приезжать, но попробую. Ешь».

И больше ничего. Три недели. Только звонки по субботам. Он держал слово не искать, и от этого было невыносимо.

* * *

Режим сложился сам, как складывается лёд на реке. В пять сорок пять будильник, и Алиса вставала, не позволяя себе лежать лишних секунд. Холодная вода из-под крана. Кухня, где в этот час, как правило, никого. Чайник, овсянка из пакета, ложка мёда из банки, которую Валентина Игоревна поставила на её полку без слов. Ела она стоя у окна, на котором мороз рисовал по краям узоры, и смотрела, как в окнах напротив зажигается свет. Ела всё. До последней ложки. Хотя бы за это она себя не ругала.

В шесть двадцать выходила из подъезда. Двор с тополем, гаражи, фонарь на столбе. Метро, переход, вокзал, электричка, в которой всегда, всегда пахло мокрой шерстью. От станции пешком вдоль сада. К восьми пятидесяти она стояла у железной калитки, и там её ждала Агафья с термосом.

День. Расчистка, тампоны, лупа. Ольга Дмитриевна приходила и уходила, не вмешиваясь. Иногда клала на стол новую доску, иногда забирала старую. Раз сказала: «Вы быстрее стали». Раз сказала: «Вы стали грубее. Не торопитесь». Больше ни слова. Из-за стены неслись голоса, которые Алиса постепенно перестала слышать как музыку и начала слышать как воздух.

В четыре пополудни заканчивали. Дорога обратно. В семь она была дома, ужинала у Валентины Игоревны, которая теперь ставила тарелку молча, без комментариев, и в восемь падала.

Встать, работать, упасть. Это была не жизнь, а конвейер, но конвейер не оставлял щелей, куда могла бы просочиться мысль. Пока шла работа, она держалась. Пока ехала в электричке, держалась. А вот на пересадках, в толчее подземных переходов, было хуже: тело вдруг вспоминало.

* * *

Кира писала каждый день. Алиса знала время: утром в девять, когда та, видимо, открывала кофейню, и вечером в десять, когда, видимо, ложилась. Сообщения приходили длинные, прерывистые, написанные быстро, с опечатками, с кучей слов в скобках. Алиса читала их в вагоне электрички, в переходе, сидя на подоконнике на кухне. Читала дважды. Не отвечала.

Вот одно, от вторника:

«Алиска, привет, это я, твоя вечная Кира! Сегодня утром Стас вернулся с рынка и принёс мне ведро мандаринов (смайл с глазами-сердечками, но не рисуй мне, что я не вижу). Я ела мандарины и плакала, потому что не знаю, почему. Врач говорит, это гормоны. Я говорю: это мандарины. Живот сегодня такой, что я хожу как баркас. Малышка (по-моему всё-таки малышка) решила спать на моём мочевом пузыре, это её любимая подушка. Пишу тебе, потому что молчать не получается. Я не жду ответа! Правда! Просто знай, что я сижу тут с чашкой, и каждый раз, когда звенит колокольчик над дверью, у меня внутри всё ёкает: а вдруг ты. Не ты, конечно. Какой-то дядька за капучино. Но всё равно. Люблю тебя. Ешь, пожалуйста. Целую в обе щёки, и в нос тоже».

А вот другое, в четверг, пришедшее глубокой ночью:

«Не спится. Стас храпит, как трактор (смайл с высунутым языком). Пишу в темноте, под одеялом, чтобы не разбудить. Я сегодня видела Максима. Он зашёл за кофе. Ничего не говорил. Заказал, как всегда, американо без сахара, сел у окна и пил его так, будто это лекарство. Я подошла и поставила рядом булочку, без слов, и он съел. Всю. Я чуть не расплакалась, стою за стойкой и смотрю, как человек ест булочку, и мне хочется кричать «ура». Вот до чего мы дошли. Он похудел. Но он ест. Алиса, я не обещала тебе не писать про него, потому что ты не просила. Если не хочешь, скажи, я перестану. Не хочешь? Тогда продолжу. Он ест. Помни про это».

Алиса перечитывала это сообщение. Положила телефон на колени экраном вверх. За окном электрички плыли чёрные ёлки. Она чувствовала странное: горло болело от слёз, которые не шли. Они просто стояли внутри, как вода в шлюзе.

Ответить: «Я не хочу, чтобы ты перестала».

Не ответила. Пальцы не слушались. Вместо этого она открыла фотографию. Единственную, которую взяла с собой в телефоне: Кира, Стас, Максим, она, на пирсе, в июне, под гирляндой. Все смеются, Кира в белом платье с венком, Стас с поднятыми руками. Максим смотрит не в камеру, а на неё, на Алису, и лицо у него такое, что ей захотелось ударить кулаком в оконное стекло.

* * *

Сообщение от неизвестного номера пришло в середине февраля, в воскресенье. Алиса сидела на кухне с чаем. Вибрация, незнакомые цифры, длинный код. Она открыла.

«Алиска. Это Дан. Номер дала Кира, не ругай её, я сам просил, а она не смогла отказать. Я ухожу в рейс. Потом, в апреле, буду в Лиссабоне. Съезжу к Диогу и к Инеш. Привезу ему цветок от тебя, если ты не против. Слышал, что ты уехала. Не знаю, правильно или нет, но слышал, как ты говорила: слышать мало. Надеюсь, тебе там легче. Дан».

Она смотрела на текст так долго, что экран погас. Потом включила снова.

Он писал взрослым, спокойным голосом, и в этом голосе не было ни просьбы, ни упрёка. Цветок. От неё. Диогу.

Она набрала: «Привези. Белый». Стёрла. Набрала: «Спасибо». Стёрла.

Не ответила. Только закрыла глаза, и перед ними встал белый могильный камень в чужом городе, цветок на нём, и мужчина с хвостом на затылке на коленях перед маленькой плитой. И рядом, в другой земле, под клёном, другой камень.

Пошла к умывальнику. Умылась ледяной водой. Руки по-прежнему дрожали, но уже не так.

* * *

Первый приступ в метро случился на второй неделе марта.

Она ехала домой. Час пик, вагон забит, она стояла между дверью и какой-то женщиной с сумками, прижатая спиной к стеклу. Состав остановился в тоннеле, как это иногда бывало.

Погас свет, потом зажёгся тусклым, жёлтоватым. И в этом тусклом свете, в тесноте, в жарком чужом дыхании, что-то в ней щёлкнуло.

Сердце заколотилось. Не от страха, а как бы само по себе, отдельно: бух-бух-бух, быстрее, быстрее. Руки стали ватными, ледяными. В глазах померкло по краям, как в телевизоре с севшим кинескопом. Она открыла рот, хотела вдохнуть и не смогла: воздух не шёл. Белый коридор. Лампы. Гул ламп над головой. Лица в масках. «Давление падает». Она слышала это всё так явственно, что рванулась вперёд, расталкивая людей, и кто-то закричал: «Женщина, осторожнее!»

Поезд тронулся. Следующая станция. Двери разъехались, и она вывалилась на платформу, на колени, на холодный мрамор, и стояла, упершись ладонями в пол, и хватала воздух ртом, как рыба.

— Девушка, вам плохо? — спросил кто-то сверху. — Девушка!

— Нет, — выдохнула она. — Нет. Я просто. Сейчас.

Она поднялась, шатаясь. Дошла до скамейки. Села. Вокруг двигались люди, тени, ботинки, каблуки. Никто не остановился: только пожилая женщина в сером платке протянула ей маленькую бутылку воды. Алиса сделала глоток. Вода пахла пластиком.

— Спасибо.

Женщина кивнула и ушла. Алиса сидела минут двадцать, считая плитки на полу. Раз, два, три, пока дыхание не вернулось. Потом на ватных ногах дошла до эскалатора и поднялась наверх, на улицу, где шёл мартовский дождь. Подставила лицо под капли. Они были холодные, живые.

Домой она вернулась пешком, почти два часа, через весь район, мимо гаражей, мимо ларьков, мимо школьного двора, где кричали дети. Мимо детской площадки она прошла, зажмурившись.

* * *

В ту же ночь пришёл кошмар. Тот же коридор, но теперь пустой, без людей. Лампы гудели, пол блестел, и в самом конце его стояла колыбель на высоких колёсиках. Она шла к ней, шла, шла, а колыбель отъезжала. Она бежала и всё равно не могла догнать, пока не закричала.

Проснулась в поту, с мокрой от слёз подушкой. Дышала, как после бега. В комнате стояла чернильная темнота; часы на кухне пробили три раза. Встать, умыться. Она пошла босиком по коридору, держась за стену, и, ослеплённая, вошла на кухню. Не включила света. Села за стол, на ту самую табуретку, обхватила себя за плечи и поняла, что трясётся мелкой дрожью, всем телом, как от озноба. Зубы стучали.

Чиркнула спичка.

Алиса вздрогнула. В углу кухни, на подоконнике, в темноте, тлел красный огонёк. Валентина Игоревна сидела, поджав под себя ногу, в ночной рубашке и вязаной шали, и курила в форточку. Лицо её в отблеске огонька казалось старым и очень спокойным.

— Не спится? — спросила она.

— Простите. Я вас разбудила.

— Я и не спала. Я в три всегда встаю. Возраст. Сиди.

Больше она ничего не сказала. Затушила сигарету, слезла с подоконника, пошаркала к плите. Зажгла конфорку, поставила чайник. Достала с полки две чашки, не парадные, а простые, белые, с отбитыми краями. Насыпала заварки, залила кипятком. Накрыла блюдцем. Достала из шкафчика банку, отвинтила крышку, и по кухне поплыл запах малинового варенья.

Алиса сидела, обхватив плечи. Валентина Игоревна поставила перед ней чашку. Положила в неё ложку варенья. Размешала. Подвинула. Села напротив и стала смотреть в своё окно, не на Алису, а мимо, на тополь.

Тишина. Только тикали часы.

Алиса взяла чашку двумя руками. Тепло потекло по пальцам. Она поднесла чашку к губам, и тут, от запаха малины, от простого, невыносимого запаха, у неё задрожал подбородок. Она поставила чашку обратно, закрыла рот ладонью. Но звук всё равно вырвался.

Она плакала, не уходя, не извиняясь. Валентина Игоревна не шелохнулась. Не сказала «тише», не сказала «что ты». Только когда Алиса согнулась пополам, уткнувшись лбом в клеёнку, хозяйка протянула руку через стол и положила ей на спину сухую ладонь. Просто положила. Тёплую, тяжёлую, пахнущую табаком и мылом. И держала.

Потом Алиса, всхлипывая, услышала сквозь собственные рыдания тихое:

— У меня сын был. Сашка. В тысяча девятьсот девяносто четвёртом. В девятнадцать лет. Ну, потом. Ты пей чай.

И больше ни слова. Ни разу после этого она не вернулась к этой фразе. Алиса пила чай. Он был сладкий, крепкий, горячий, и от него потихоньку согрелись руки.

Когда чашка опустела, Валентина Игоревна встала, подтолкнула её к двери.

— Иди спать. Утром овсянку съешь. Не смей не есть.

— Валентина Игоревна...

— Иди, говорю.

Алиса дошла до комнаты. На пороге обернулась. Хозяйка стояла у плиты, спиной, маленькая, сутулая, в старой шали, и мыла две чашки под краном.

Телефон лежал на столе. В нём было два новых сообщения от Киры и один пропущенный звонок. Она не стала смотреть. Легла и заснула. Без снов.

Глава 39. Тишина

Доска лежала на столе четвёртую неделю, и лица на ней по-прежнему не было.

Ольга Дмитриевна принесла её в конце февраля, в понедельник, и положила перед Алисой без объяснений, как клала всё остальное. Сорок на тридцать сантиметров, липа, расколотая вдоль и когда-то стянутая двумя шпонками на обороте. Левкас пошёл сеточкой, местами вздулся и осыпался. Поверх всего лежал олифа-лак, потемневший до цвета крепкого чая, а на нём ещё копоть, ещё свечной нагар за три с лишним века. Икона была из тех, что висели в чьём-то доме над печкой, и на неё годами дышали дымом и кухонным паром. Угадывались только вытянутый овал, полоса плеча и белёсое пятно у верхнего края, там, где, наверное, была надпись.

— Семнадцатый век, — сказала Ольга Дмитриевна. — Может быть, конец. Из деревни под Угличем, мне привезли в прошлом году. Богородица, скорее всего, но я не уверена. Тут не всё ясно. Вы начнёте с пробных окошек. Три, не больше, в углах, там, где слой тоньше. Потом покажете мне.

— Я могу снимать только после вашего разрешения?

— Вы можете снимать то, что я разрешила. Окошки я разрешила. Остальное потом.

Алиса кивнула. У Ольги Дмитриевны не было привычки объяснять дважды, и Алиса уже знала, что переспрашивать не нужно: нужно сидеть и смотреть, пока доска сама не скажет, где с ней можно.

Она смотрела весь первый день. Просто смотрела под лупой, потом под боковым светом, потом при ультрафиолете, когда Ольга Дмитриевна завесила окна и выключила лампу. В синем мраке старый лак вспыхнул зеленоватым, мутным, как тина. Под ним что-то темнело. Контуры не складывались ни во что, но Алиса вдруг поняла одну вещь: края лика были написаны не резко, а мягко, с вязким переходом. Рука, которая это писала, не торопилась. Двести лет назад, триста пятьдесят лет назад: рука работала так же, как работает сейчас её собственная, с лупой и ватной палочкой. Какая-то женщина или мужчина, нищий, возможно, неграмотный, сидел при свече и растирал охру на желтке.

И тогда она впервые за много недель подумала не о себе.

* * *

Мартовские дни вытянулись. Утром теперь было светло уже в семь, и в электричке она ехала не в темноте, а в сером прозрачном свете, в котором поля лежали рябые, чёрно-белые, как плохая гравюра. Сад вдоль дороги стоял голый, но на ветках что-то менялось: кора потемнела от влаги, на концах побегов набухли бурые узелки. Агафья ждала у калитки без термоса: говорила, что хватит уже, весна, чего это греть.

Алиса стала ходить по монастырскому двору иначе. Раньше она шла, опустив голову, считая плиты. Теперь иногда поднимала глаза. Белая колокольня с зелёной главкой, на которой сидели голуби. Колодец с деревянным срубом, почерневшим от времени, и жестяным ковшом на цепи. Поленница под навесом, сложенная так ровно, будто кто-то выстраивал её линейкой. Огромная чёрная собака по кличке Варнава спала на ступенях трапезной, вытянув лапы, и просыпалась только тогда, когда проходил отец Николай.

Старика она видела почти каждый день, но говорила с ним всего два раза. Первый раз он остановился у мастерской, посмотрел на неё из-под бровей и спросил:

— Ложка у вас в кармане, откуда?

Она не сразу поняла. Рука сама нашла в кармане фартука бабушкину медную ложечку, которую она по какой-то нелепой привычке носила с собой повсюду и в мастерской держала рядом с лупой, как амулет.

— От бабушки. Ею чай размешивали.

— Хорошая вещь. С такой не пропадёшь. — И пошёл дальше.

Второй раз он принёс ей из трапезной яблоко. Одно, мятое, зимнее, из погреба, с коричневым пятнышком на боку. Протянул и сказал: «Ешьте, пока кислое. Потом сладким не будет». Яблоко было кислое и твёрдое, от него свело зубы. Алиса съела его всё, с сердцевиной, и подумала, что не ела яблок со дня, когда вернулась из роддома. Не потому, что нельзя. Просто забыла, что они бывают.

* * *

Служба за стеной шла дважды в день. Утром, в семь, когда Алиса была ещё в электричке, и вечером, в пять, когда она уже собирала инструменты. Но по субботам и в праздники службы бывали длинные, и тогда казалось, что стена мастерской вся, от пола до свода, вибрирует тихим гулом, как корпус большого инструмента.

Она не молилась. Ольга Дмитриевна ни разу не спросила, верит ли она, и Алиса была благодарна ей за это больше, чем за любое слово. Она не знала, что у неё теперь за вера. Раньше она ходила в церковь Святого Николая в Приморске, по воскресеньям, с бабушкой. Стояла в платочке, дышала воском и тёплым ладаном. После августа не заходила. Она не сердилась на Бога. Она просто не знала, о чём теперь говорить с тем, кто был всё это время рядом и ничего не сделал.

Но слушать она могла.

В один из последних дней марта, в субботу, она осталась в мастерской дольше обычного. Ольга Дмитриевна ушла в трапезную, Агафья с утра убирала в храме, и Алиса была одна. Печка горела ровно, тихо потрескивала. За стеной шла вечерняя служба: всенощная накануне какого-то праздника, длинная, с чтением. Мужские голоса вели одну ноту, потом поднимали её чуть выше, потом отпускали. Иногда вступал высокий женский, певчей из мирянок, тоненький, ломкий, и тогда казалось, что по тёмной воде кто-то ведёт тонкую светлую нитку.

Алиса сняла окошко. Третье, в левом нижнем углу, последнее из разрешённых. Взяла тампон и повела им так, как её научили: по кругу, по волосу, без нажима. Копоть сходила. Под ней открылась тёмная зелень, густая, почти чёрная, с серебристым отливом. Потом проступила тонкая складка, и ещё одна. Одежда. Платок, края которого были обведены золотой лентой. Края ленты едва мерцали, и в этом мерцании она увидела вдруг, что золото было положено не плоским слоем, а штрихами, мельчайшими, как волоски. Каждый штрих отдельно. Для чего? Чтобы свет бродил и менялся при свече.

За стеной запели что-то широкое. Слов она не разбирала, но мелодия поднималась и падала, как дыхание спящего человека, и Алиса поймала себя на том, что её дыхание подстроилось под неё: вдох на подъёме, выдох на спаде.

Она не заметила, как это случилось.

Тампон скользил, вода в стакане мутнела, а внутри неё, там, где несколько месяцев стоял тугой, горячий ком, вдруг стало пусто. Не больно. Не тепло. Просто не было ничего, что давит. Секунд тридцать, может быть, минуту. Она перестала дышать от изумления и замерла с поднятой рукой, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть. Сидела так. Голоса пели. Печка щёлкнула полешком. Из узкого окна лился серый свет, и в нём плавали пылинки.

Минута без боли. Она не знала, что с ней делать. Не было ни радости, ни облегчения, только странная тишина, прозрачная, как вода в колодце, и в ней, на самом дне, чётко виден каждый камушек.

Потом ком вернулся. Медленно, не набросившись, а как возвращается вода в пересохшее русло. Но Алиса запомнила эту минуту. Положила её, как кладут в карман гладкий камень с берега: на потом.

* * *

— А кольцо у вас красивое, — сказала Агафья.

Был вторник, перерыв, и они сидели на лавке у стены мастерской, на солнышке, которое вышло впервые за неделю. Агафья принесла из трапезной два куска чёрного хлеба с солью и две кружки тёплого кваса. Свою долю она уже съела, а Алисину ещё не тронула: смотрела.

— Это обручальное, да? Вы замужем?

Алиса посмотрела на свою руку. Тонкий ободок из матового золота, на внутренней стороне гравировка, которой не видно. За два месяца в монастыре никто не спросил про него. Ольга Дмитриевна видела, но промолчала. Трудники не замечали. А эта круглолицая, веснушчатая девочка, двадцати двух лет, в синей косынке, смотрела с прямым любопытством, и спросила так, как спрашивают дети: потому что хочется знать.

— Да, — сказала она. — Замужем.

— А муж где? Он приедет?

— Нет. Он в другом городе.

— А вы с ним поссорились? — Агафья мигом покраснела. — Ой, простите. Я не должна. Сестра Евлампия говорит, я лезу туда, куда не просят. Не отвечайте.

— Нет, мы не ссорились. — Алиса повертела кольцо на пальце. Оно было свободнее, чем в августе: она похудела. — Мы потеряли ребёнка.

Она не собиралась говорить. Слова вышли сами, как выходит воздух. Агафья замерла с открытым ртом. Потом тихо сказала:

— Как это — потеряли?

И Алиса вдруг подумала: всё. Вот сейчас. Это нужно сказать. Не «потеряли», не «так вышло», не «случилось», как говорили врачи и родственники, и она сама себе. Все эти мягкие слова-прокладки, в которые заворачивают то, что не вытерпеть. Она произнесла их столько раз про себя и в письмах, а вслух, чужому человеку, ни разу.

— Моя дочь умерла, — сказала она.

Голос был ровный, чужой. Двор, солнце, лавка, хлеб в руках, ворона на куче поленьев: всё осталось на месте. Но сказанное повисло в воздухе, и она услышала его в первый раз, со стороны. Моя дочь умерла.

— Она родилась мёртвой. В августе. У неё было имя. Нина.

Горло перехватило. Агафья смотрела на неё круглыми глазами, в которых уже блестело. Не жалость, не любопытство. Просто чужая девочка, которой стало больно.

— Господи, — прошептала она. — Господи, Алиса. Мне так жаль.

— Не надо.

— Нет, надо. — Агафья неловко, по-детски придвинулась и обхватила её обеими руками, прижалась щекой к плечу, косынка съехала. От неё пахло хлебом, дымом и яблоками. — Вот это надо. Не говорите «не надо». Мне вот надо. Я сто раз так ревела за ту девочку, которая умерла у нас в деревне, в прошлом году, а мне говорили: не твоё дело. А мне моё!

Алиса не плакала. Она сидела, обнятая чужой послушницей, и смотрела на ворону. Горе было такое огромное, что она не могла вместить его целиком, и оно просачивалось по капле. Потом ворона улетела. Алиса услышала, как что-то горячее потекло по щеке, потом по другой. И тогда она заплакала, сразу в голос, по-настоящему, как не плакала ни в поезде, ни на кухне у Валентины Игоревны. Рыдала, уткнувшись в плечо девочки, которую знала два месяца, и говорила:

— Я промолчала. Я заметила, что она реже толкается, и промолчала. Я не разбудила его, три часа ждала, понимаете, три часа. А потом было поздно.

— Нет, — сказала Агафья. — Нет, нет, нет. Вы не виноваты.

— Вы не знаете.

— Не знаю. Но не виноваты. Так не бывает, чтобы мать была виновата в том, что ребёнок умер. Мама мне говорила: мать не виновата, никогда. Мать виновата только, если уходит. А вы же не ушли. Вы же тут. Вы же всё помните.

Голос её дрожал. Она сама плакала, шмыгала носом, вытирала рукавом лицо. Алиса сидела и слушала это нескладное, детское «не виновата», и оно не лечило, нет. Но на секунду она позволила себе услышать его.

Они сидели так долго. Кислый хлеб остыл в руках. Колокол на звоннице пробил, отзвонил половину часа. Агафья вдруг выпрямилась, торопливо вытерла лицо и сказала шёпотом:

— Ой. Отец Николай идёт.

Старик шёл от храма через двор, неторопливо, опираясь на палку. Борода его белела на чёрном подряснике. Он остановился в трёх шагах, посмотрел на двух зарёванных женщин на лавке. Долго. Из-под бровей виднелись только щёлки, и в них не было ни удивления, ни расспросов.

— Хлеб-то съешьте, — сказал он наконец. — Остынет.

И пошёл дальше. Агафья хмыкнула мокрым носом, и Алиса неожиданно для себя тоже, и они обе засмеялись, вдруг, неудержимо, до икоты, прикрывая рты ладонями. Это был смех сквозь слёзы, дурацкий, некрасивый, но живой.

* * *

В тот вечер она сидела над иконой допоздна. Ольга Дмитриевна заглянула в шесть и ничего не сказала, только положила на край стола свёрток: две тёплые лепёшки из трапезной, обёрнутые в чистую тряпицу. И ушла.

Алиса доела лепёшки. Включила лупу. Три окошка стояли перед ней, три маленьких квадрата чистоты на тёмном поле: охра с золотом, зелень с серебром, и ещё одно, в правом верхнем углу, которое она сделала утром. Там проступил кусочек красного, тёмно-вишнёвого, цвета спелой вишни. Фон? Одежда? Она не знала.

Она взяла скальпель. Нет, нельзя, разрешено было только три окошка. Положила обратно.

Просто сидела и смотрела. Лик пока скрывался под лаком, густой, тёмный, но теперь в нём что-то угадывалось: слабое движение, поворот, наклон головы. Богородица, наверное, склонённая к Младенцу. Или просто женщина, с низко опущенным взглядом.

Она поднесла руку и осторожно, самым кончиком пальца, не касаясь, провела над тем местом, где должна быть щека.

— Я здесь, — сказала она шёпотом. Сама не знала, кому. Иконе. Той, на ней. Той, что осталась в чужой земле под клёном. — Я здесь.

За стеной уже отпели. Тишина стояла полная, густая, и только печка тихо остывала, пощёлкивая угольками. Алиса сидела и слушала эту тишину. Это была не та тишина, от которой хочется кричать, как в пустой детской в Приморске. Это была другая: большая, терпеливая, в которой можно было быть.

Она заплакала снова, тихо, без рывков, как плачет усталый человек, которому больше не нужно держаться. Слёзы капали на фартук, на колени, на тёмную кожу, пропитанную растворителями и годами работы. Она не вытирала их. Пускай.

А потом встала, укрыла икону чистой тканью, как учила Ольга Дмитриевна, погасила лупу и пошла к выходу. На пороге мастерской она остановилась. Над садом висел узкий месяц. В воздухе пахло оттаявшей землёй. Прямо на её глазах, в бледно-зелёном небе, зажглась первая звезда.

Она не загадала желания. Просто посмотрела.

Глава 40. Первый звонок

В середине апреля сообщения от Киры вдруг прекратились.

Алиса заметила это не сразу. Сначала просто не пришло утреннее: в девять, как всегда, она проверила телефон на платформе, ожидая электричку, и экран был пуст. Подумала: заспала. Вечером тоже тихо. На следующий день ничего. Она вертела телефон в руках, открывала переписку и закрывала, как будто в ней могло что-то появиться само. Последнее сообщение было от понедельника, короткое, без смайлов и без «целую в нос»: «Алиска, не ругайся. Всё хорошо. Расскажу потом».

Это «расскажу потом» ей не понравилось. Кира не умела рассказывать потом. Кира выпаливала всё сразу, вместе с опечатками, со слезами и мандаринами.

В среду она сидела над иконой и поймала себя на том, что в третий раз за час проверяет телефон. Ольга Дмитриевна оторвалась от лупы.

— Если вам надо позвонить, звоните. Я не запрещаю.

— Мне не надо.

— Тогда уберите его с глаз. Он вас отвлекает.

Алиса убрала телефон в карман фартука. Сделала ещё одно движение тампоном, и ещё. Работа не шла. Под рукой у неё был самый сложный участок: край лика, там, где лак срастался с красочным слоем, и пальцы вдруг стали чужими. Она отложила палочку.

— Ольга Дмитриевна. Я выйду на десять минут?

— Идите.

Во дворе цвели нарциссы. Вдоль стены трапезной, в мокрой чёрной земле, которую Агафья ещё на прошлой неделе вскопала без чьего-либо разрешения. Жёлтые, наглые, на тонких ножках, они качались от ветра и смотрели в небо. Алиса постояла над ними. Достала телефон. Набрала сообщение: «Ты в порядке?» Отправила.

Прошло пять минут. Десять. Ответа не было, а сообщение так и осталось серым, не прочитанным.

* * *

Домой она ехала с тяжёлой головой. Электричка гремела на стыках, в вагоне сидели дачники с рассадой в ящиках, пахло землёй и мокрыми картонными коробками. Напротив дремал мужчина с кошёлкой, из которой торчали зелёные стрелки лука. Алиса прижалась виском к стеклу. За окном плыли дачные посёлки, голые берёзы, лужи с облаками на дне. В каждой луже по облаку, и в каждом по маленькому солнцу.

Она думала о Кире. Не о том, что сказать, а о ней самой: о веснушчатой, суматошной, смешливой Кире, которая в школьные годы повязывала на руку красную нитку «на удачу» и верила в приметы больше, чем в алгебру. О Кире на пирсе в июне, в белом платье с венком, с гирляндой над головой. О Кире, которая вдвоём с ней сидела ночами на кухне бабушкиной квартиры и красила волосы в рыжий, пока они обе не отравились аммиаком. О Кире на похоронах, которая несла сумку с лекарствами и не отходила ни на шаг. О Кире, которая писала ей каждый день два с лишним месяца, не получая ничего в ответ, и не обижалась.

И в этой Кире сейчас было семь с лишним месяцев. Нет, почти восемь.

Холодок прошёл по спине.

На станции она вышла, не дождавшись остановки у дверей, и, спускаясь с платформы, уже набрала номер. Гудок. Второй. Третий.

Ей ответил мужчина.

— Алло. Алиса?

Голос Стаса. Усталый, севший, без обычной его весёлой хрипотцы.

— Стас. Что с Кирой?

— Алис. — Он выдохнул. — Слушай. Она не хотела, чтобы я говорил. Она сама хотела. Но ей нельзя вставать и нельзя нервничать, а она вчера целый вечер просидела с телефоном в руках и не решалась. Всё в порядке. Малышка в порядке. Просто она в больнице, с воскресенья. На сохранении. Давление поднялось, и врач сказал: лежать. Две недели минимум, а там посмотрим.

— Какой срок?

— Тридцать два. Тридцать три почти.

Тридцать три недели. Алиса остановилась посреди дорожки, ведущей от станции, и прижала ладонь ко рту. Тридцать три недели: и она знала по книгам, по приложению, по врачам, по собственным месяцам: у ребёнка в этот срок уже есть всё. Лёгкие почти готовы. Волосы. Ногти. Он различает свет и тьму.

Она тогда была на тридцать девятой.

— Алиса? Алис, ты тут?

— Тут.

— Ты не бойся. — Он понизил голос. — Она в порядке, правда. Ругается на всех, требует кофе, который нельзя. Медсёстры её уже любят, а одна, пожилая, называет «наша скандалистка». Вот прямо сейчас она рядом, лежит. Хочешь... хочешь, я ей трубку дам? Она ждала, чтобы ты написала. Сказала: если напишет, значит, прочла. А если прочла, значит, можно.

— Дай.

Она сказала это раньше, чем успела подумать. Услышала в трубке шорох, глухие шаги, звук больничного коридора: далёкий гулкий, с эхом, и голоса, и скрип двери. Потом Стас сказал негромко, прикрыв телефон ладонью: «Это она. Бери». И опять шорох. И вдруг, совсем близко, всхлип.

— Алиска.

* * *

Они долго молчали обе. Алиса стояла на дорожке между платформой и шоссе, у голого куста боярышника, и держалась за ветку: колючки впивались в ладонь. Мимо шли люди с сумками, обходили её, кто-то оглядывался. Она не замечала.

В трубке дышала Кира. Часто, прерывисто, носом, как дышит человек, который изо всех сил старается не разреветься и не может.

— Привет, — сказала Алиса. Голос сорвался на «ве», вышло шёпотом.

— Привет. — Кира всхлипнула и засмеялась, мокро, сквозь слёзы. — Господи. Это ты. Это правда ты. Стас, ты слышишь? Это она! Он тут стоит, смотрит на меня, как на привидение. Алиска. Ты мне звонишь.

— Это ты в больнице.

— Нет. Ты мне звонишь. Ты не взяла сто тридцать звонков, а я считала, и сама позвонила. Я на это не рассчитывала. Я собиралась тебе написать письмо и отправить заказным, чтобы ты хоть почту расписалась.

— Кира.

— Что?

— Как ты.

— Я лежу. — Голос её потеплел. — Лежу как бревно. Палата на четверых, соседки хорошие, одна из них, Люся, привезла вязание и учит меня носки. Я вяжу носки, представляешь. Левый уже получился, правый выходит как галоша. Малышка колотит меня под рёбра, она там не лежит, она там танцует. Живот такой, что я себя из-за него не вижу. Врач сказал: полежи две недели, и тогда выпишем, но потом всё равно лежачий режим до самых родов. Я сказала: если надо лежать, я лягу. Я теперь послушная. Ты бы меня не узнала.

Она тараторила, как всегда, но Алиса слышала под скороговоркой другое: страх. Тот самый, спрятанный глубоко, который она сама носила в себе на девятом месяце и никому не показывала.

— Ты боишься, — сказала Алиса.

Кира замолчала.

— Да, — выдохнула она. — Боюсь. Каждую ночь. Просыпаюсь и слушаю: толкается или нет. Если не толкается, я её бужу. Щекочу живот, пихаю, пью холодную воду. Она толкается. Я успокаиваюсь. Потом опять. Ночью сестра зашла и говорит: «Соболева, вы чего не спите?» А я говорю: считаю. Алиска, прости. Я не должна была тебе этого. Это не про то. Ты не должна слушать. Я же знаю, что тебе нельзя.

— Можно.

— Что?

— Можно. Говори. — Она села на бордюр у куста, на мокрый холодный камень, подтянула колени. — Мне не нельзя. Мне можно слушать про тебя. Ты думала, я не смогу?

— Я не знала.

— Я тоже не знала. — Алиса провела рукой по лицу. — Говори.

И Кира заговорила. Негромко, уже без скороговорки, медленно, с паузами, как говорят ночью на кухне. Про то, как делали узи и показывали, что у малышки Стасов нос. Про то, что Стас приносит ей из дома книжки, и она не может читать, потому что на второй странице начинает плакать. Про кофейню, куда пока вместо неё встала Тоня, студентка, и Тоня перепутала сиропы, и клиенты три дня пили «ванильный капучино с мятой». Про то, что лилии на подоконнике в палате расцвели у неё одной на всём этаже, и нянечка сказала: «Ну, девка, у тебя рука лёгкая». Про то, что вчера впервые услышала, как малышка икает. Икает внутри, ритмично, как будильник.

Алиса слушала. Слёзы текли у неё по щекам, горячие, и она не вытирала. Это были другие слёзы, не такие, как раньше. Она не вся состояла из боли, как в октябре. Просто в ней было много всего.

— Алиска, — сказала Кира в конце. — Я скажу одну вещь. Одну, ладно? Не про него. Я знаю, что ты не хочешь. Не про него, а про тебя. Можно?

— Можно.

— Ты там не одна. Я это знаю, ты, наверное, тоже. Но я скажу всё равно. Нас много. Мы тут. Мы с тобой.

Алиса кивнула, хотя та не видела.

— Всё. Это я сказала. Это всё. Теперь можешь не отвечать.

Тихо. В трубке слышались больничные звуки: тележка за дверью, чей-то смех, звонок в коридоре. Алиса вдруг поняла, что дрожит, не от холода, а как будто всё внутри разом отпустило, и теперь тело не знает, что делать с этой свободой. Она прикрыла глаза.

А потом Кира сказала, совсем тихо, почти шёпотом, и Алиса поняла, что та сдерживала это всё время, что оно и было главным:

— Он есть по утрам.

Алиса не дышала.

— Ты просила. Помнишь, написала: «ешь по утрам». Он ест. Я проверяю. Заходит ко мне в кофейню каждый день в восемь, до галереи. Я знаю, потому что Тоня мне докладывает, даже когда я лежу. Берёт овсянку и яйцо, садится у окна. Первое время смотрел в тарелку, как будто это враг. Потом стал есть. Теперь просто ест. Раз в неделю заказывает ещё и булочку с корицей и берёт её с собой, не знаю, для кого. Ты просила. Он ест.

Закончила и замолчала. Алиса смотрела на асфальт. Прямо перед ней лежала лужа, и в ней плавало перевёрнутое небо, серое, с полоской света на западе. Ветер морщил воду. Булочка

с корицей. Он взял её тогда, летом, на пирсе, она любила именно с корицей. Для кого он берёт её с собой?

— Спасибо, — прошептала она.

— Не за что. Это не мне. Это ему спасибо, что слушается. Больше никого.

— Кира.

— Да?

— Я не могу ещё. Ты понимаешь? С ним. Я не могу. Ещё не могу.

— Знаю, солнышко. Я знаю. Я не прошу. Я про другое. Я просто сказала, чтобы ты знала. И всё.

Они снова помолчали.

— Мне пора, — сказала Кира. — Принесли ужин, и сестра смотрит. Алиска. Звони. Или не звони, но возьми, если я позвоню. Договорились? Хотя бы это.

— Договорились.

— Люблю тебя.

— Я тоже.

Слово вышло само. Она не готовилась. Она не говорила его никому уже много месяцев, даже в мыслях, даже перед сном. «Я тоже». Она услышала, как Кира ахнула, коротко, по-детски, и повесила трубку, потому что иначе обе зарыдали бы в голос на разных концах страны.

* * *

Домой она добралась уже затемно. Дверь открыл Витька-студент, который вежливо посторонился, взглянул на её лицо и ничего не сказал. Валентины Игоревны на кухне не было: из её комнаты доносился голос диктора, старый приёмник бубнил про погоду. Алиса прошла к себе, не включая света, сняла пальто, села на кровать.

Телефон лежал в руке. Она включила экран. Светилось время, девятнадцать пятьдесят. Журнал вызовов: «Стас, исходящий, 14 минут». И чуть ниже, ещё один, вчерашний, с субботы: «Максим, пропущенный».

Она смотрела на его имя долго. Но сегодня не так, как всегда, не как на огонь. Иначе. На фотографии, где он сидел с кружкой, без улыбки, в старом свитере, с волосами, не причёсанными с утра. Она вдруг подумала: интересно, он ещё в этом свитере? Седина у него, наверное, прибавилась. Он ест овсянку у окна. С булочкой.

Она не нажала. Нет. Не сегодня.

Поднесла левую руку к лампе. Кольцо мерцало тусклым желтоватым светом, тоненький круг, такой привычный, что на коже под ним осталась светлая полоска. Бабушка говорила: обручальное кольцо не снимают, пока носишь любовь. Нина Максимовна, суровая, прямая, никогда не носила своего: оно лежало в шкатулке, и Алиса не понимала почему. Теперь, кажется, понимала. Можно носить любовь и не носить кольцо. А можно наоборот.

Она провернула его вокруг пальца. Один раз. Другой. Не сняла.

Из кухни тянуло запахом жареного лука. За окном, во дворе, кто-то заводил машину, она кашляла и не заводилась. Тополь у гаражей стоял чёрный, но на кончиках веток, она вдруг увидела при свете фонаря, налились крохотные почки, как капли. Весна.

Какая-то дальняя, неумолимая мысль поднималась в ней, как вода в шлюзе: «Он есть по утрам». Это была не радость. И не боль. Это было что-то третье: что-то, у чего ещё не было названия.

Телефон завибрировал в ладони. Сообщение. Алиса опустила глаза. Номер был знакомый, из Приморска, но без имени: она так и не сохранила его. Всего две строчки.

«Это Анна Львовна. Максим просил передать, что в субботу не будет звонить. Ему сказали: хватит. Он написал вам письмо. Оно лежит у меня, если вы захотите, я могу переслать. Решать только вам».

Она сидела неподвижно, держа телефон обеими руками, как держат птицу. Сердце стучало в горле. Субботы без звонка. Письмо, которого она не просила и о котором не знала. Тёмная комната, лампочка в коридоре, часы на кухне.

Кольцо на пальце холодило кожу.

Она не ответила. Но и телефон на стол экраном вниз класть не стала.

ЧАСТЬ

IX

. «ПИСЬМО МАКСИМА»

Глава 41. Утро

Его разбудил холод. Не сквозняк, не остывший чай: холод с левого бока, там, где последние часы лежало тепло. Максим открыл глаза и несколько секунд не понимал, где он. Потолок, лепнина по краю, тёмный экран телевизора. Диван. Плед натянут до самого подбородка и подоткнут с боков, как подтыкают ребёнку, а под головой подушка, которой он вечером не брал.

Он никогда не подтыкал себе плед. Кто-то сделал это за него.

В гостиной было темно, но из коридора на паркет падала жёлтая полоса. Лампа на кухне. Горит. Он лёг с ней, с Алисой, вместе, а лампу не выключили. Он потянулся к телефону на полу: пять двадцать восемь. За окном ни зари, ни даже серости, только фонарь на набережной и чёрное зимнее небо над портом.

— Алиса? — позвал он хрипло.

Тишина. Не пустая, а какая-то слишком плотная, как в комнате, где только что перестали разговаривать.

Он сел. Спустил ноги на ковёр. Голова гудела, во рту был вкус вчерашнего чеснока, и он подумал, что надо бы почистить зубы, пока она не проснулась, и тут же поймал эту мысль и понял, что она уже старая, что так он думал год назад, когда всё было просто. Встал. Пошёл по коридору босиком, мимо спальни. Дверь была приоткрыта. Кровать застелена, покрывало натянуто ровно, подушки на месте. Её сторона выглядела так, как выглядит постель в гостинице, куда никто ещё не заселялся.

На вешалке в прихожей не было пальто. Он посмотрел на это место долго: на пустой крючок, на красный шарф, который висел рядом с ним, который она не взяла. Потом на полку. Плошка с рыбой из золотой чешуи. Ключи от машины. Мелочь. Ключа от детской в ней не было.

Он вошёл в кухню.

Лампа над плитой светила так же спокойно, как всегда. Стол чистый, вымытый, с тёмным кругом от кружки. И посередине лежал лист бумаги, сложенный вчетверо, а на листе ключ. Маленький, латунный, тот, что был в плошке. Рядом на столешнице, свернувшись, поблёскивала цепочка. Тонкая серебряная змейка. Он знал эту цепочку наизусть, до каждого звена, потому что сам застёгивал её на шее Алисы в то утро на крыше, трясущимися пальцами, и не мог попасть замочком в петельку.

Максим не сразу взял письмо. Постоял над столом, как стоят над чем-то, что можно разбить одним касанием. Потом убрал ключ, отодвинул цепочку, и бумага развернулась сама, по сгибам.

Рисунок. Руки. Он узнал бы их, наверное, в любой темноте: одна держит чашку, вторая придавила к столу какой-то счёт, и между большим пальцем и ладонью тёмный шрам, прорисованный чуть тщательнее остального. Он сначала не понял, откуда это. Потом вспомнил: галерея, первая осень, он орал на поставщика рам, а в углу, за мольбертом, сидела новенькая реставраторша с серьёзным лицом и что-то штриховала. Он думал, что она рисует рамы. «М. Р., среда, 17:40. Злой».

Она перевернула лист. Он тоже перевернул.

Её почерк он знал так же, как и руки. Чуть наклонённый влево, быстрый, с длинными хвостами у «у» и «р», как будто буквы норовили убежать. Только сегодня почерк держался. Каждая строчка была ровная, и именно поэтому читать её было страшно: так пишут, когда держат себя за шиворот.

«Максим. Я начала это письмо пять раз…»

Он читал стоя. Сначала быстро, глазами, перескакивая вперёд, нащупывая главное, как нащупывают в темноте выключатель. «Не ухожу к Дану». Выдох, который вырвался сам, дурац-

кий, облегчённый, и тут же стыд за этот выдох. Дальше. «За день до родов Нина стала двигаться реже».

Он остановился. Прочёл ещё раз. Перечитал третий.

Три часа. Он не знал. Господи, он не знал. Он помнил ту ночь с точностью до секунды, потому что потом перебирал её каждый вечер по дороге на кладбище: как проснулся от её тихого «Максим», как вскочил, как увидел простыню. Он думал, что всё началось в ту минуту. Что это он, он не успел за четверть часа от лифта до машины, за светофор на Рыбачьей, за очередь в приёмном. Он отдал этому светофору полгода. А она лежала в темноте и смотрела на часы. Три часа. Одна. И боялась его разбудить.

В горле что-то заклинило. Он сглотнул, но не прошло. Ладонь, державшая лист, дрожала так, что строчки прыгали. Он положил письмо на стол, прижал обеими руками, как прижимают руку раненого, и дочитал, склонившись над ним, почти касаясь лбом бумаги. Пятно чернил на слове «часа». Расплывшееся, круглое. Слеза. Он понял это и тронул пятно пальцем, зачем-то, и палец потемнел.

«Я бы хотела, чтобы это была женщина. Было бы проще».

Он коротко, бессмысленно засмеялся, один раз. Звук получился страшный. Он зажал рот ладонью.

«Ты один хоронил нашу дочь».

Нет. Нет, нет. Он не хоронил, он стоял и смотрел. Он выбрал гроб. Он выбрал белый камень. Он держал на руках что-то, что ему отдали в простыне, и не знал, куда смотреть. Но она написала: «хоронил», и она была права, он был там один, потому что не позвал её, потому что не мог посмотреть, как она увидит. Он решил за неё. Он всё решил за неё, с самого начала: что ей лучше не видеть, не знать, не ездить, не трогать.

«Лучше бы ты смотрел с ненавистью. С ненавистью я бы справилась».

Он сел. Табурет выехал из-под него, и Максим не стал его подбирать, просто опустился на пол, спиной к ящикам кухонного шкафа, с письмом в руке. Читал дальше уже с пола. «Ешь по утрам. Ты забываешь. Стас знает». Это было так по-человечески, так мелко и так огромно, что его скрутило. «Не молчи. Вот. Я не молчу. Поздно, но не молчу».

Внизу, под подписью, мелко, торопливо, другими чернилами, словно приписанное в последнюю секунду: «Я была в детской. Прости, что без тебя. Ничего не трогала. Чайка упала, я повесила. Шапочка на спинке, это ты ведь её туда повесил? Спасибо».

«Спасибо». За шапочку.

Он заплакал.

Не так, как на кладбище, на коленях, когда слёзы текут и можно ещё говорить, придумывать, что рассказать. И не так, как в коридоре клиники, где он не заплакал совсем. Это пришло откуда-то снизу, из живота, и было непохоже на плач: он открыл рот, а звука не было, только сухой, рвущийся вдох, потом второй, и плечи затряслись. Потом звук всё-таки вышел, низкий, звериный, он услышал его как чужой и испугался, и тут же понял, что некому испугаться вместе с ним, что никто не вбежит. Он ткнулся лбом в колени. Письмо мялось в кулаке, он пытался его разгладить и не мог, и плакал дальше, надрывно, до икоты, давясь собственным ртом.

Прошло, наверное, минут десять. Может, больше. Он не считал. Когда он поднял голову, лицо было мокрое до шеи, а на мятом листе рисунок с руками стал почти неразличим.

— Дурак, — сказал он вслух. — Дурак. Дурак.

И вскочил.

Куртка висела в прихожей, он надел её наизнанку, спохватился, вывернул. Ботинки на босу ногу, шнурки не завязал. Ключи от машины из плошки, брелок упал, пнул. Бумажник на месте, телефон в кармане, письмо. Письмо он сунул за пазуху, к рубашке, к самому телу, и застегнул молнию до подбородка.

На лестнице он перепрыгивал через три ступени. В лифт не стал: подумал, что тот поедет слишком долго.

Машина завелась с третьего раза. Двор был чёрный, мокрый, пустой. Снег, который шёл с вечера, не лёг, а превратился в кашу, и колёса скользили. Он выехал на набережную. Ни одной машины. Светофоры мигали жёлтым. Море справа было неразличимо, только белая бахрома у мола и запах соли, ледяной, въедливый, прорвавшийся в салон сквозь щель. Он гнал, не глядя на спидометр, и в голове крутилась всего одна мысль, упрямая, глупая: успею. Если вокзал, если перрон. Если поезд, который всегда опаздывает.

Вокзал в пять сорок встретил его гулкой пустотой и запахом мокрого линолеума. На табло горели красные цифры. Двадцать минут третьего, написано было про Москву: «отправлен». Отправлен. Он не поверил, подошёл ближе, прочёл ещё раз. Выскочил на перрон.

Второй путь. Пустой. Лужи на асфальте, лампы над рельсами, мокрый снег, летящий наискосок. В конце платформы, где обрывался навес, стояла одинокая фигура в оранжевом жилете и курила, и от этого огонька стало ещё холоднее. Максим побежал. Остановился на самом краю, там, где жёлтая линия. Посмотрел на рельсы, которые убегали в темноту двумя серебряными нитками и исчезали за поворотом.

Три с половиной часа назад на этих рельсах стоял поезд. Три с половиной часа назад она сидела на нижней полке у окна, в своём пальто, с сумкой на коленях. А он спал в двух километрах отсюда, на диване, и улыбался.

— Мужчина, — окликнул человек в жилете. — Вы кого-то провожали?

— Нет, — сказал Максим. — Я опоздал.

— На московский? — Тот пожал плечами. — Так другой вечером. В девятнадцать сорок.

Вечером. Он подумал: до вечера четырнадцать часов. За четырнадцать часов он успеет собрать сумку, заехать в галерею, позвонить Стасу, купить билет и сесть. В Москве адрес монастыря он найдёт. Он найдёт. Ольга Дмитриевна, суровая женщина, говорили четыре минуты. Он зайдёт в ворота, и она...

Что она? Он стоял, дышал, и пар от его дыхания уходил под навес. Что она? «Если ты приедешь, я вернусь с тобой, потому что не смогу сказать „нет“ твоим глазам, и всё начнётся заново».

Телефон оказался в руке, он не помнил, как достал. Нашёл «Алиса». Нажал. Гудок, ещё гудок. Пять гудков, потом механический голос: абонент не отвечает. Он набрал снова. Снова гудки. Она в поезде. Она видит, как он звонит. Она смотрит на экран и не берёт, и губы у неё сжаты, и на колене тот самый свёрток с булками.

Он не мог дозвониться до неё. А до кого мог?

Кира взяла трубку на втором гудке.

— Макс, — сказала она. Голос заспанный, плывущий, но в нём уже была тревога, знакомая, женская, та, которая просыпается раньше разума. — Господи. Ты прочитал.

— Ты знала.

— Макс...

— Ты знала! — Он услышал свой голос со стороны. Он не кричал так никогда: так срывается голос у человека, который долго держал что-то в груди. Рабочий в жилете обернулся и тут же отвернулся. — Вчера вечером. Она сидела у тебя, и ты знала, что она уезжает, и ты ей булок завернула!

— Она просила...

— Мне плевать, что она просила! Ты меня видела в пятницу, во вторник, в четверг! Ты наливала мне кофе, ты ставила мне булку, а она у тебя на кухне билет... ты мне в глаза смотрела!

— Максим!

— Двадцать лет я тебя знаю, Кира! Ты мне Артёма не простила, а сама... Три часа! Ты знала про три часа? Она тебе сказала про три часа, да?

— Нет! — Кира закричала в ответ, высоко, тонко, и дальше уже плакала. — Нет, я не знала, откуда, я ничего не знала, она сказала только, что уезжает, и что письмо оставит, и чтобы я не говорила до утра! Я сказала ей «не уезжай», слышишь? Я кричала, я её на коленях... Я сказала «побег», а она сказала «конечно, побег». Макс, прости меня, прости, я всю ночь не спала, я сидела с телефоном и думала: позвонить. Я хотела тебя набрать в два, в три... Стас не давал. Он сказал, что она взрослая, что нельзя. Что ты потом... Макс, ну пожалуйста, ну не молчи ты...

Она рыдала в трубку, с захлёбом, икая, как рыдают дети, и он слушал это, стоя на краю платформы, и злость в нём вдруг осела, как пена. Осталась только дрожь. Он подумал: она на седьмом месяце. Ей вредно.

— Тихо, — сказал он. — Кира. Тихо. Не плачь. Тебе нельзя.

— А тебе можно?! — выкрикнула она. — Тебе можно орать на беременную женщину в шесть утра?

— Нельзя, — признался он. — Прости.

— Не прощу, — всхлипнула Кира. — Потом прощу. Через неделю. Где ты?

— На вокзале.

— Господи. Стой там. Не садись никуда, слышишь? Не садись в машину, ты в таком состоянии... Стас!

В трубке грохнуло что-то деревянное, заскрипела кровать, мужской голос что-то спросил, и Кира сказала: «Макс на вокзале, он всё знает, поезжай», и пошли короткие гудки.

Максим опустил телефон. Сел на скамейку, мокрую, холодную, под навесом, на которой накануне сидели те, кто провожал. Рядом валялся окурок, сломанный пополам. Он смотрел на него.

Руки не слушались. Он достал письмо. Развернул. Рисунок почти исчез под слезами, но слова на обороте, там, где чернила, стояли ровно. Перечитал последний абзац. «Я говорила: я выбираю тебя. Каждый день. Это правда. Просто я не знаю, как выбирать тебя, когда меня нет рядом. Попробую оттуда».

«Попробую оттуда». Вот, значит, как. Она там, а он здесь, и каждый из них пробует.

Он положил палец на экран. Написал: «Алиса». Стёр. Написал: «Я приеду за тобой». Посмотрел на эти слова: они были правдой, они были самым правдивым, что он мог сказать, и от них хотелось выть. Стёр. Руки тряслись. Он набрал: «Я прочитал. Я не приеду. Я никогда не умел не приезжать, но попробую. Ешь».

Часы на экране показывали шесть двадцать. Он нажал «отправить» и уронил телефон на колени.

Потом сидел и смотрел, как рабочий в жилете докурил, раздавил окурок каблуком и ушёл в служебную дверь. Снег всё летел. На путях зажёгся фонарь над стрелкой, мигнул красным и сменился на зелёный.

Минут через двадцать к вокзалу, визжа тормозами, подкатил знакомый чёрный внедорожник. Дверь хлопнула, потом ещё одна. По платформе шёл Стас: огромный, в расстёгнутой куртке, поверх домашней майки, в тапочках. В тапочках. На ногах у него были клетчатые мягкие тапки, мокрые насквозь, и он этого, кажется, не замечал. В руке красный термос.

Он подошёл. Постоял. Лицо у него было серое, глаза красные. Не сказал ни слова. Сел рядом, так, что скамейка скрипнула, и протянул термос.

— Что там? — спросил Максим.

— Чай, — сказал Стас. — С мёдом. Кира налила.

Максим взял термос. Открутил крышку-стаканчик. Пар поднялся ему в лицо, пахнуло липой и кипятком. Он налил, отпил. Горячее ударило в горло, и он закашлялся, и снова заплакал, уже тихо, просто слёзы, без всего.

Стас положил свою огромную ладонь ему на затылок. Тяжёлую, тёплую, как кирпич из печки. Не сжал, не погладил. Просто держал, как держат кружку, чтобы не пролилась.

— Знал, — сказал Максим в стаканчик.

— Знал.

— Мог мне сказать.

— Мог.

— Почему не...

— Дал слово.

Они сидели. Из репродуктора под потолком равнодушный женский голос объявил о прибытии электрички из Выборга. Начинали светлеть окна вокзала, серым, ленивым, зимним светом.

— Поехали домой, — сказал Стас. — Ты босой.

Максим посмотрел вниз. Ботинки были надеты на босу ногу, шнурки волочились по луже, и носок левой ноги, там, где задралась штанина, синел от холода.

Он хотел засмеяться, но не вышло.

Глава 42. Стас

Стас ничего не говорил всю дорогу. Вёл машину Максима, потому что свою бросил у вокзала с включённой аварийкой, сказал: «Потом заберу». Тапки хлюпали на педалях. Дворники ходили по стеклу туда-сюда, размазывая мокрый снег, и в салоне пахло чужим ментолом, потому что на зеркале болталась Кирина ёлочка, купленная ещё в ноябре.

Максим сидел справа, как пассажир. Он смотрел на набережную и думал, что раньше ему не приходило в голову, как медленно просыпается этот город. Зажглось одно окно в доме напротив рыбного рынка, потом второе. Дворник в оранжевой жилетке скоблил лопатой ступеньки магазина. Автобус проехал пустой, освещённый, и в нём никто не сидел, только водитель, в шапке, с кружкой.

В подъезде Стас шёл позади него. Ступени считал вслух, шёпотом, одними губами, и Максим понял, что тот боится: вдруг он на лестнице остановится и не пойдёт дальше. Он дошёл. Дверь квартиры стояла нараспашку, он, выбегая, даже не закрыл её. Из кухни тянуло холодом: окно он тоже открыл, оказывается, зачем-то, и там, на подоконнике, лежала дорожка мокрого снега.

— Садись, — сказал Стас.

Он закрыл окно. Нашёл на полке сковороду, самую большую, чугунную, которую Алиса купила в первый месяц на барахолке и долго отмывала от ржавчины, и поставил на огонь. Открыл холодильник, постоял, достал яйца. Шесть штук. Масло. Остаток колбасы в вощёной бумаге, лук, один помидор, который пора было выбросить. Он не спросил разрешения, не спросил, хочет ли Максим. Он просто начал: резал лук, и нож стучал по доске ровно, без спешки, как у человека, который привык кормить других.

Максим сидел на табурете. Тот самый табурет, что выехал из-под него утром, валялся у шкафа, и он поднял его и сел. Стол был перед ним пустой. Письмо он держал на коленях, сложенное, в левой руке, и не мог разжать пальцы.

— Положи, — сказал Стас, не оборачиваясь. — Не уйдёт.

— Оно уже ушло.

— Письмо — нет.

Максим положил его на стол, ладонью вниз, как кладут карты. Лук зашипел на сковороде, и по кухне поплыл тот запах, который у каждого дома свой, но у всех одинаковый: тёплый, жирный, домашний. От него у Максима снова сжалось горло. Это был запах воскресенья. Запах, который Алиса любила не меньше, чем он сам: она вставала на цыпочки у плиты, в его футболке, с растрёпанной косой, и говорила, что готовит быстро, потому что ей нужны были руки свободными для кофе.

Стас разбил яйца, одно, второе, третье, ловко, одной рукой. Желтки встали ровными бугорками. Посолил. Накрыл крышкой. Сел напротив, не на табурет, а на обычный стул, и тот скрипнул. Сложил руки на столе. Они у него были большие, красные от холода, с обломанным ногтем на большом пальце: он вчера чинил что-то у Киры в кафе, наверное.

Они сидели и слушали, как шипит яичница.

— Ты ничего не спросишь? — наконец сказал Максим.

— А надо?

— Не знаю.

— Тогда поешь, — сказал Стас.

Через пять минут перед Максимом стояла тарелка. Яичница с луком и колбасой, поджаристая по краям, как он любил. Рядом вилка. Рядом ломоть чёрного хлеба, который Стас откуда-то нашёл. Чай, налитый в её кружку, ту, большую, синюю, со сколом на ручке.

— Не хочу.

— Знаю.

— Меня стошнит.

— Тогда стошнит. Но ты съешь.

— Стас.

— Она попросила, — сказал Стас. Тихо. Без нажима. — Там, в конце, ты читал. «Ешь по утрам». Я не читал, но Кира мне сказала. Так что давай. Один раз. Для неё.

Максим посмотрел на тарелку. Желтки подёрнулись плёнкой. Он взял вилку, и она показалась ему тяжёлой, как гантель. Отломил кусок белка, положил в рот. Прожевал. Вкуса не было, была только текстура, горячая, масляная, чужая. Проглотил. Второй кусок. Третий. На четвёртом он снова заплакал, потому что вдруг понял, что не ел со вчерашнего дня, и что она написала это не потому, что он забывал, а потому, что она знала: он будет забывать, когда её не будет. Она знала его так хорошо, что оставила инструкцию. Как оставляют для приболевшей кошки: корм там, вода тут.

— Она всё знала, — сказал он, жуя. — Видишь? Про меня. Что я не ем. Что я не... что я молчу. Всё знала. И уехала.

— Угу.

— Как так? Если знала, как можно...

— Потому что иначе вы бы оба тут утонули, — сказал Стас. — Я так думаю. Я не умный, но я так думаю.

Максим доел. Всё, до последней нитки лука. Вытер хлебом тарелку, как делал в детстве, и дед ругал, а бабушка потихоньку подсовывала ещё. Стас сидел и смотрел на него, и в лице его, широком, сонном, с отросшей щетиной, не было ничего, кроме усталой ласки.

— Теперь чай.

— Я знаю про чай.

— Вот и пей.

Он пил. За окном начинало светлеть: по-настоящему, не вокзальной серостью, а розовым, осторожным, зимним цветом, от которого окна соседнего дома превратились в золотые прямоугольники. Где-то во дворе хлопнула дверь, и залаяла собака.

— Я вчера ходил на кладбище, — сказал Максим. Слова вышли сами, как ложка из рук. — Утром. До мастерской. Она не знала, я не говорил. Там у памятника... Помнишь, Игнатьич как-то сказал: «Дети любят, чтобы к ним приходили». Я пришёл. Принёс ей ракушку с пирса. Положил у камня. Хотел вчера вечером Алисе сказать, что был, что рассказывал Нине... что у нас всё будет. А потом пришёл домой, и она так на меня смотрела, и я не... я думал, что мы с ней вдвоём. Что мы вместе всё это пережили. А она была одна.

— Макс.

— Подожди. Я бумажник нашёл. Ты помнишь, я потерял его осенью? Я думал, украли. Он лежал у меня в кармане пальто, под подкладкой, и я нашёл его вчера, когда искал платок. А в нём фото. Узи. Её, Нины. То чёрно-белое. Я забыл, что ношу. Я полгода ходил с ней в кармане и не знал.

Он замолчал. Стас не шевелился.

— Я на неё смотрел, а она на меня не смотрела, — сказал Максим. — У неё в глазах было... А я ничего не видел. Я смотрел на кроватку. Я думал: надо выбрать краску. Желтую. Она сказала: жёлтая, и я пошёл покупать краску. А она лежала три часа и смотрела на часы.

— Ты не знал.

— Должен был.

— Как?

Максим открыл рот и закрыл его. Как. Если бы кто-нибудь ответил ему на этот вопрос, он бы, кажется, отдал за ответ всё: галерею, квартиру, руки.

— Не знаю, — сказал он.

— Вот и я не знаю, — сказал Стас. — Но давай договоримся: ты не будешь искать. Не сейчас. Не сегодня утром, когда тебе четыре часа назад отрезали руку.

Максим поднял глаза.

— Я хочу к ней, — сказал он. Просто, как признаются в самом стыдном. — Я хочу сесть в вечерний поезд, приехать и встать на пороге. Вот просто встать. Там мастерская, я найду. Ольга Дмитриевна эта... Она не выгонит. Она увидит мои глаза и...

— И?

— И Алиса вернётся. Потому что ей меня жалко. Она сама написала: не смогу сказать «нет» твоим глазам.

— А ты хочешь, чтобы она вернулась из жалости?

— Нет.

— Тогда чего ты хочешь?

Он задумался. По-настоящему, до тошноты, до внутренней пустоты, в которой нет ни одной готовой фразы. Стас ждал. Не торопил. Часы на стене пробили семь, один раз, глухо, и пошёл кап-кап из крана, который Максим всё собирался починить.

— Хочу, чтобы она жила, — сказал он. — Не со мной. Не из-за меня. Просто чтобы жила. Чтобы смогла встать утром и не думать про коридор. Чтобы у неё в руках было что-то, чем она дышит. А я... я ей мешаю дышать. Вот это я понял. Я так её держал, что ей нечем было. Я не нарочно. Но так.

— Тогда не езди, — сказал Стас.

— Она всегда просит «не ищи». А потом, когда ищу, она... Ты помнишь, в декабре? Она тогда ушла на два дня, и я нашёл её у Нины в квартире, и она...

— Она заплакала и вернулась. Помню.

— Вот.

— Это было тогда, — сказал Стас. — А сейчас она уехала на тысячу километров. Не к бабушке. Не к подруге. Она пошла и купила билет. Одна. С сумкой. И написала тебе четыре страницы, и каждая строчка ровная. Ты видел, как она написала? Рука не дрожала. Это не «ушла хлопнув дверью». Это решение.

— Знаю.

— Ну.

— Тогда я просто не умею. Не ехать. Я не умею сидеть и ждать, Стас, это... Это как смотреть, как кто-то тонет и стоять на берегу.

— А она тонет?

Максим помолчал.

— Нет, — сказал он. — Она плывёт. Просто не ко мне.

Он сказал это и сам удивился, как просто оно прозвучало. Как будто слова лежали на дне давно, и он наконец нащупал их ладонью. Стас кивнул, не удивившись. Налил ему ещё чаю, себе тоже, из того же заварника, и подвинул сахарницу.

— Нет, — повторил Максим. — Не в этот раз.

— Хорошо.

— Не в этот раз я не поеду.

— Хорошо. Но тебе нужно с кем-то поговорить. Не со мной. Я только яичницу.

— Яичница хорошая.

— Я знаю, — сказал Стас, и у него дёрнулся угол рта.

Они сидели ещё долго. Заглянуло солнце, настоящее, бледное, на несколько минут, и положило на скатерть косой квадрат света. В нём плавали пылинки. Максим смотрел на них и думал, что в этой кухне три года назад он впервые сказал Алисе, что хочет, чтобы она осталась. Не «останься», а «хочу, чтобы ты осталась»: он тогда долго подбирал слова, потому что приказывать боялся.

Стас допил, встал, помыл посуду. Вытер руки о полотенце, тоже Алисино, льняное, с вышитым петушком, и повесил его на ручку духовки ровно, углом к углу.

— Мне Кире позвонить надо. Скажу, что мы живы. Ты как?

— Иди.

— Не пойду. Я позвоню отсюда. А ты... — Он помялся. — Ты, наверное, захочешь одного побыть. Я в гостиной на диване. Если что, свистни.

— Стас.

— Что?

— Спасибо.

Стас пожал плечами, огромными, привычно.

— За яичницу?

— За всё.

Он вышел. Через стену донеслось тихое, нежное, на удивление высокое: «Котёнок, мы тут. Нет. Нет, он поел. Нет, не плачет. Да. Да, я тоже». Максим слушал, как этот большой человек в мокрых тапках разговаривает с беременной женой, и ему стало и тепло, и невыносимо, и он поднялся.

Он пошёл по коридору. Мимо спальни, мимо ванной, мимо шкафа, на дверце которого висел отпечаток её руки, невидимый, но он его знал. Остановился у двери в конце, белой, с шершавой краской, на которой кто-то когда-то нацарапал шариковой ручкой смешного человечка. Это сделала Алиса, в первую неделю, когда они клеили обои в детской и ждали, пока подсохнет.

Ключа у него не было. Ключ лежал на кухонном столе. Он вернулся, взял его с бумаги. Латунный, тёплый, как будто его держали в кулаке. Прошёл обратно.

Дверь открылась без скрипа. Он никогда её не смазывал, но петли держались безупречно, как будто сами берегли тишину.

Он ожидал темноты, но шторы были раздвинуты, и в окно уже входил день. Жёлтые стены. Алиса выбирала краску два месяца, разводила, красила кисточкой уголки, не доверяя валику: тёплый, топлёный, яичный цвет, цвет не солнца, а солнечного пятна на столе. Мобиль с чайками висел над кроваткой, и одна чайка была приклеена заново, чуть криво, видно было, где прошёл клей. «Чайка упала, я повесила».

Белая кроватка. Комод, на нём стопка пелёнок, которые Тамара принесла в подарок, и они так и лежали нераспечатанные, перевязанные ленточкой. Шапочка на спинке стула. Он подошёл и взял её. Маленькая, жёлтая, вязаная, с помпоном, которую Нина Сергеевна связала накануне, и которая не пригодилась.

Максим сел на пол. Прямо на ковёр с облаками, который они покупали вдвоём, и она смеялась, что облака слишком серьёзные. Прислонился спиной к кроватке, к её белым прутьям, и подтянул колени. Шапочка лежала у него на ладони, лёгкая, как птица. Он держал её и смотрел на жёлтую стену.

Он пробыл там сорок минут. Не плакал. Просто сидел, дышал, слушал, как в соседней комнате тихо бубнит телевизор, который Стас включил, чтобы он не чувствовал себя одиноким. На стене, на высоте его плеча, остался маленький мазок, который Алиса не закрасила: то ли пятнышко, то ли отпечаток. Он дотронулся до него пальцем.

— Здравствуй, Нина, — сказал он вполголоса, привыкая к звуку. — Это папа. Мама уехала. Ненадолго... Не знаю, насколько. Я тебе потом всё расскажу, ладно? А пока посижу тут. С тобой.

Солнце дошло до его колен. Он впервые за полгода сидел в этой комнате и не хотел из неё уйти.

Глава 43. Кабинет с фикусом

Номер ему дала Тамара. Не прямо: просто на третий день зашла в галерею с банкой квашеной капусты, поставила её на стойку перед Максимом и, не поднимая глаз, сказала, что у неё есть племянница, которая в юности работала в поликлинике, и там была одна женщина, Анна Львовна, тихая, без суеты, к ней ходили все, кому не к кому. Записка с телефоном лежала под банкой, придавленная крышкой. Тамара ушла, не дожидаясь ответа, и палка её застучала по ступеням.

Он носил записку в кармане неделю. Доставал, разглаживал, прятал. Ему казалось, что набрать этот номер значит признать что-то окончательное, как расписаться под диагнозом. Что он сам не справился. Что у него, мужика, который с шестнадцати лет таскал ящики на рынке и не просил помощи, не получилось.

В пятницу он позвонил. Просто чтобы закончить с этим.

Кабинет находился на втором этаже старого дома на улице Садовой, в десяти минутах от порта, над аптекой. Подъезд пах сырой штукатуркой и кошками. На двери висела скромная табличка: «А. Л. Верещагина, психолог». Он постоял у неё полминуты, не звоня, глядя на свои ботинки. Потом нажал.

Открыла женщина лет пятидесяти, невысокая, в сером кардигане с растянутыми рукавами, с седеющими волосами, собранными в узел на затылке, из которого выбивались две пряди. Лицо у неё было обыкновенное, мягкое, с мелкими морщинами вокруг глаз, и никакой профессиональной улыбки, от которой его заранее тошнило. Она просто кивнула, как кивают соседу.

— Максим? Проходите. Куртку можно вот сюда.

Он повесил куртку на крючок и вошёл.

Комната оказалась маленькой, тёплой, и в ней было слишком много вещей, чтобы это походило на кабинет: книжный шкаф до потолка, два кресла, между ними низкий столик с коробкой салфеток и стеклянным кувшином, в котором плавали кружки лимона. На подоконнике стоял фикус. Огромный, в кадке, с глянцевыми тёмными листьями, один из которых упёрся в раму и согнулся, как от усталости. На стене тикали часы. Простые, круглые, с белым циферблатом и чёрными стрелками, без боя. Кто-то повесил их так, чтобы они были видны из обоих кресел.

— Садитесь, где удобнее, — сказала Анна Львовна.

Он сел в то, что стояло спиной к окну. Потом пересел в то, что лицом: захотелось видеть дверь. Она ничего не сказала. Села сама, поджав одну ногу, на которой у неё был домашний вязаный носок, и положила на колено блокнот, закрытый. Даже ручку не достала.

Сорок пять минут. Он знал, что у них так. Тамара сказала: сорок пять.

Часы тикали.

Прошло пять минут. Он смотрел на фикус. На лист, который упёрся в раму. Ему хотелось встать и отодвинуть кадку, чтобы дерево не мучилось, но он сидел. Прошло десять. Анна Львовна смотрела не на него, а чуть в сторону, на кувшин, и по лицу её было видно, что она не скучает, не оценивает, не ждёт. Она просто была. Как был Стас на кухне.

На пятнадцатой минуте у него зачесались глаза. Он потёр их тыльной стороной ладони. Кашлянул. Спросил:

— А что мне говорить?

— Что хотите.

— А если ничего?

— Тогда ничего.

Он кивнул. Прошло ещё минут пять. Часы. Фикус. Далёкий голос в аптеке, женщина спрашивала что-то у провизора. В подоконнике сидела муха и медленно, лениво ползла по стеклу.

— Меня жена бросила, — сказал он на двадцать первой минуте.

Не так он хотел сказать. Он хотел совсем по-другому: ровно, с датами, как докладывают. Но слова вышли именно такие, глупые, обиженные, чужие.

Анна Львовна не двинулась.

— Расскажите, — сказала она.

— Нет. Не бросила. Она уехала. Она... — Он замолчал, потёр лоб. — У нас дочь умерла. В августе. Родилась мёртвой. И Алиса, это моя жена, она взяла и уехала в Москву. На шесть месяцев. Может, больше. Не знаю. Оставила письмо.

— Вы его читали?

— Раз тридцать.

— Что в нём?

Он начал рассказывать. Сначала сухо, про факты: про ночь, про больницу, про три часа, про то, что она одна лежала и смотрела на часы. Потом про карточку с отпечатками, и голос у него сел, и он замолчал, глядя в потолок. Потом про рассвет на крыше, про то, как она сказала: «Я не ухожу к Дану». Потом про диван, и плед, и пустую кровать. Он говорил двадцать минут подряд, не останавливаясь, не поднимая глаз. Анна Львовна слушала, подперев щёку рукой. Раз кивнула. Раз налила воды из кувшина в стакан и пододвинула ему, не прерывая.

Когда он закончил, у него дрожали руки.

— Я хочу понять, в чём я ошибся, — сказал он. — Мне нужно знать. Я хочу составить список. Что я сделал не так, чтобы...

— Чтобы починить?

Он поднял голову.

— Да.

— Максим, — сказала она. Спокойно, почти буднично. — Вы сколько раз за эти полчаса сказали «мы справимся»?

— Я не говорил.

— Говорили. Дважды. Про больницу: «Я сказал ей, мы справимся». Про осень: «Я думал, мы справимся, надо просто дать время». И один раз про себя: «Я должен был справиться».

Он замолчал. Он вспомнил: действительно. Он прокрутил фразу в голове и услышал её, как чужую. «Мы справимся». Он говорил это в больничном коридоре, в машине, в галерее, у кровати. Он говорил это Алисе в сентябре, когда она сидела на полу в детской и смотрела в стену. «Мы справимся, слышишь? Мы вместе, всё будет хорошо». Она смотрела на него тогда с каким-то странным выражением. Не злым. Усталым. Как смотрят на человека, который объясняет что-то, что не нуждается в объяснении.

— А что в этом плохого? — спросил он. — Я хотел её поддержать.

— Конечно. Вы хотели её поддержать. Но иногда «мы справимся» слышится как «ты не имеешь права не справляться». Как «давай скорее перестанем». Это не вы виноваты, вы сказали это из любви. Просто человек, у которого горе, не хочет справляться. Он хочет, чтобы горе было признано.

Он молчал. У него горело лицо.

— Вы всё время хотели починить, — продолжала Анна Львовна. — Это видно. Вы говорили: «я решил, чтобы ей не было больно». «Я убрал кроватку». «Я не стал её будить». Вы человек, который берёт на себя. Это хорошее качество. И оно же иногда не оставляет другому места.

— Я думал, так правильно.

— А как вы научились так думать?

Он открыл рот. Закрыл. Часы тикали. Фикус стоял неподвижно, и на его глянцевом листе лежал жёлтый отблеск зимнего солнца.

— Дед, — сказал он наконец. Откуда это выплыло, он не понял. — Дед меня растил. Мой отец... Мой отец умер, когда мне было девять. Не болел, просто... упал на работе. На рыбзаводе. Лёд там. Мать потом вышла за другого и уехала в Мурманск, а я остался с дедом. Дед у меня был... Он не ругался. Он вообще не говорил. Мы жили в одной комнате три года, и он за это время сказал мне, наверное, тысячу слов. Он чинил сети и курил. Я сидел рядом и смотрел. Вот и всё. Когда у него умерла бабушка, моя бабушка, я пришёл из школы, а он сидел на кухне и строгал что-то. Дощечку. И ничего не сказал. Я тоже. Мы так и просидели до ночи. Он строгал, а я смотрел.

— Вы заплакали тогда?

— Нет.

— А он?

Максим задумался. Он увидел эти руки, жёлтые от никотина, с трещинами, с проступающими венами. Увидел лицо, неподвижное, обветренное, с глубокими бороздами. И вдруг ясно вспомнил: тот вечер, дед строгает, дощечка уже вышла такая тонкая, что вот-вот переломится, а он всё строгает. И по щеке у него течёт.

— Плакал, — сказал Максим. Голос у него сломался. — Он плакал. Но молча. Он строгал и плакал, а я смотрел и решил, что так и надо. Что мужчины так. Что надо делать что-нибудь руками, пока... И я ушёл спать. Я ему даже чаю не налил.

Слёзы пришли сразу, неожиданно, как приходят в детстве, когда вспоминаешь забытое. Он согнулся, закрыл лицо ладонями. Плечи у него вздрагивали. Он думал, что ему стыдно, что он, мужик, здесь, перед чужой женщиной, но стыда не было, было только огромное, неповоротливое чувство, которое ходило внутри и не находило выхода.

Анна Львовна подвинула коробку с салфетками. Не вставая, одним пальцем. Он взял, не глядя.

— У вас в семье мужчины молчали, — сказала она тихо. — Дед, отец, наверное, тоже. Это не их вина: так жили, так выживали. Но вы унесли это в свой дом. И когда Алисе нужно было слово, вы приносили дело. Вы красили стены, выбирали гроб, строили планы. Это тоже любовь. Но другая. Она нужна, но не вместо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.